

"ИЗВЕСТИЙ"

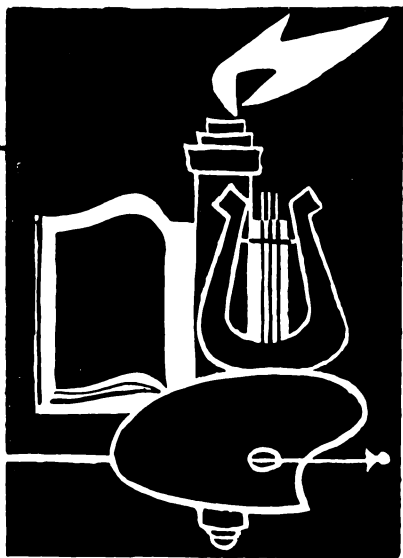
# Забывтым Быть не может



1963



**«ИЗВЕСТИЯ»**



БИБЛИОТЕКА „ИЗВЕСТИЙ“

---

**Забывтым  
быть  
не может**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ИЗВЕСТИЯ“  
МОСКВА · 1963

001 (09)

3-12

Составитель сборника Н. ЧЕРНИКОВ

Редактор А. ПЛЮЩ

## Вместо предисловия

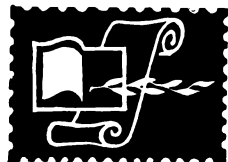
Архивы — память государства, неистощимая кладовая истории. В них хранятся миллионы документов. Они, как в зеркале, отражают славное прошлое народа, его думы и дела, его героические подвиги. Государственные акты, письма, воспоминания, дневники — живой голос минувшего. Старые страницы оживают, вызванные к новой жизни долгим поиском, неутомимым трудом исследователя. Они повествуют о многом, необыкновенно интересном и поучительном.

В этой небольшой книге собраны ранее опубликованные в «Неделе», воскресном приложении к «Известиям», воспоминания, дневники, письма видных революционеров, выдающихся деятелей русской культуры. Они представляют, на наш взгляд, интерес не только для научных работников, но и для широкого круга любителей родной старины.



# ДОКУМЕНТЫ РЕВОЛЮЦИИ

---







П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

## ЛЕНИН СМЕЕТСЯ

П. Н. Лепешинский — видный деятель Коммунистической партии Советского Союза, член Организационного комитета по созыву II съезда РСДРП, один из активных участников подготовки III съезда в Лондоне. С Владимиром Ильичем Лениным он познакомился в сибирской ссылке в 1898 году.

Подлинник публикуемых воспоминаний П. Н. Лепешинского хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.



В детстве я обожал белую бумагу или вообще какой-нибудь белый фон, на котором можно было бы оставлять след от карандаша или угля. За свою страсть к рисованию я нередко подвергался гонениям. Так, например, когда мне было пять лет, отец жестоко отстегал меня плеткою за то, что я, отдавшись художественным восторгам, измазал своими рисунками с помощью угля только что выбеленную печь. А во время моего пребывания в гимназии случилось, что за карикатуры на учителей надо мной повисала угроза быть выкинутым из школы в двадцать четыре часа. Должен сознаться, что эта преступная страстишка к свободной прогулке по листу белой бумаги попавшим в мои руки карандашом сохранилась в моей душе и до сих пор.

Но я никогда не воображал, что эта моя страстишка может повести к полезным результатам, которые вызовут одобрение у моих партийных товарищей и упрочат за мной славу «большевистского карикатуриста». А между тем это как раз и случилось в 1904 году, когда я жил за границей в эмиграции.

Помню, Ильич чрезвычайно устал от борьбы с меньшевиками после II съезда партии. Они, эти партийцы по недоразумению, не ценили нашей пролетарской партии, долженствовавшей повести рабочий класс через огонь революционных боев с самодержавием, помещиками и капиталистами к тому величайшему историческому моменту, который мы с гордостью называем своим Октябрем. Они больше интересовались тогда захватом местечек для своих лидеров в партийных центрах, вопреки постановлениям II съезда и идя в разрез с его ясно выраженной волею. Они были, по выражению Ильича, героями склочной борьбы, рыцарями внутрипартийных дрязг. Тщетно Владимир Ильич ожидал найти в лице их честных, принципиальных (по существу спорных политических вопросов) противников. Он их вызывает по-честному на бой и в своей книжке «Шаг вперед, два шага назад» старается сосредоточить их внимание на тех намечавшихся действительно глубоких расхождениях во взглядах, которые могут если и не оправдать меньшевистский «бунт» в партии, то, по крайней мере, объяснить, как это случилось так, что партия при самом своем зарождении оказалась вдруг расколотой на две части. А они только и знают, что кричать и улюлюкать: «Долой Ленина! долой его, такого-сякого бонапартиста, якобинца, заговорщика! Ату его, ату!» И в ответ на серьезнейшую книгу Владимира Ильича Мартов торопится ответить хлесткой фельетонной статьей, в которой торжественно провозглашает: «Отныне Ленин политически умер».

О, глупая наивная мышь! Она торопится похоронить кота, который сквозь прищуренные глазки хитро посматривает на нее! Помню, сказка о мышах, которые собрались на погребение кота, сразу же пришла мне в голову, когда я натолкнулся в «Искре» на статью Мартова. Не дочитав до конца этого «юмористиче-

ского» произведения, вышедшего из-под пера слишком уж развеселившегося меньшевика, я схватил карандаш и набросал три карикатурных сценки на тему: «Как мыши kota хоронили». Эти карикатуры сейчас широко распространены в разных изданиях, и я не стану передавать здесь их содержания. Расскажу только, как этими карикатурами я развеселил нашего Ильича.

Сделав карикатурный набросок, я показал его некоторым своим близким партийным товарищам. Оказалось — ничего себе. Одобрили, посмеялись, позубоскалили над «партийными мышами». Кто-то из них, плут естественный, донес Ильичу, что Олин (моя партийная кличка за границей) нарисовал карикатуру на меньшевиков. Входит в комнату Ильич и требует показать ему карикатуру. Я — туда-сюда! «Да нет, Ильич, это пустяки, нечего и смотреть... Это детский рисунок... Ну какой же я в самом деле художник...» Ильич, однако, не замечает, не хочет видеть замешательства донельзя сконфуженного горекarikатуриста и в конце концов получает в руки требуемый рисунок.

Гляжу, глаза Ильича все больше и больше лукавятся. В них быстро разгорается огонек смеха. Наконец из груди его хлынули такие волны залихватого хохота, какого мне никогда до этого времени не приходилось слышать. Читает текст, опять метнет взгляд на рисунок и снова залется заразительным веселым смехом. Мое настроение сразу поднялось на сто градусов. Мне казалось, что он с пренебрежительной улыбкой окинет взором мою злополучную «пробу карандаша», сморщит презрительно нос, увидевши себя в карикатурном изображении котамурлыки, после чего равнодушно возвратит мне мое произведение. И вдруг такой неожиданный, такой умопомрачительный эффект! Мне удалось вызвать на лице дорогого, крепко любимого человека такие яркие молнии веселости и жизнерадостности, что я не мог не возликовать. И потом, когда я свою карикатуру обработал для печати, Ильич не мог смотреть на нее без смеха. Только один раз такая вспышка веселости вдруг погасла и его лоб нахмурился. Когда он дошел до того места в

тексте, где одной из подыхающих мышей с оторванным хвостом автор карикатуры приписал предсмертные слова: «Испить бы кефирцу!» (намек на то, что у Аксельрода было где-то в Швейцарии кефирное заведение), я вдруг вижу обращенные на меня с упреком умные ильичевские глаза:

— Э-эх, товарищ Олин,— сказал мне Ильич, покачивая головой.— Ну что же тут, в этой фразе, политического?!

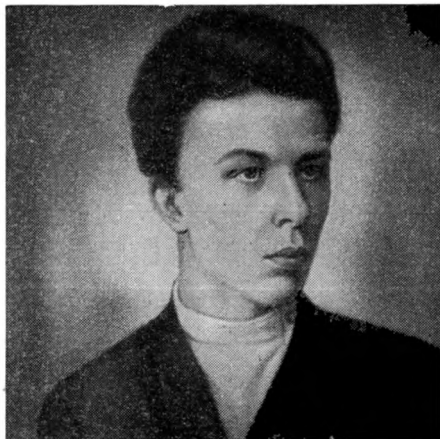
И мне вдруг стало стыдно за свою бестактность. Я счел себя вынужденным исправить это кефирное свое остроумие и вложил в уста «умирающего» Аксельрода другую фразу, с более политическим содержанием: «Я это предвидел». (Любимая ссылка Аксельрода на свою политическую проницательность.)

С этих пор я стал получать от Ильича ряд благословений на мои «карикатурные» подвиги в нашей борьбе с меньшевистской братией в Женеве и оказался общепризнанным воякой на этом поприще, несмотря на то, что я по чистой совести должен признать свое «мастерство» по части карикатур более чем сомнительным.

# ПРЕДАННЫЙ НАУКЕ

Александр Ильич Ульянов — выдающийся революционер и ученый, старший брат В. И. Ленина. Он поплатился жизнью за попытку покушения на царя Александра III.

Публикуемые письма А. И. Ульяновой-Елизаровой университетскому товарищу Александра Ильича академику С. Ф. Ольденбургу относятся к тому времени, когда Анна Ильинична собирала материалы для книги «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.» Воспоминания А. П. Семенова-Тян-Шанского, сына известного путешественника, написаны в 1941 году. Подлинники документов хранятся в архиве Академии наук СССР.



## Его вторая страсть

Письма А. И. Ульяновой-Елизаровой С. Ф. Ольденбургу

9 февраля 1926 г.

Уважаемый Сергей Федорович!

Очень благодарна Вам, что Вы так сочувственно и так быстро откликнулись на мою просьбу.

Вы совершенно правы, говоря, что с не меньшей любовью, чем к тому делу, за которое он погиб, относился Александр Ильич и к науке. И если освещение его революционной работы дается в большей или меньшей степени другими товарищами, то для памяти его особенно ценно, чтобы освещение его кратковременной научной деятельности, его знаний, достижений и открывавшихся перед ним перспектив было дано таким товарищем, как Вы, который, при личном знакомстве с покойным, по-

святил свою жизнь другой большой любви Ал[ександра] И[льи]ча — науке. Эта сторона его личности как раз наименее освещена в собранном у меня небольшом материале.

Кроме Ваших личных воспоминаний Вам не трудно будет, вероятно, добыть документальный материал из архива университета относительно той работы, за которую он получил золотую медаль на акте 8.II.1886 года и других. Так уже в январе 1887 года он работал в зоологич[еском] кабинете унив[ерситета] над исследованием органа зрения у какой-то породы червей.

Затем я слышала, что о его работах были отзывы проф[ессор]ов Вагнера, Бутлерова и Менделеева.

Если для розыска каких-либо документов я могу помочь Вам, обратясь, напр[имер], с просьбой в Центраархив, то будьте любезны известить меня об этом, и я сделаю с удовольствием, понятно.

Вам гораздо виднее, конечно, что именно наиболее характерно в научной работе брата и что следует главн[ым] обр[азом] подчеркнуть, и я с большой надеждой и огромной благодарностью жду Ваших воспоминаний о нем.

С искренним уважением

А. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

29 июля 1926 г.

Уважаемый Сергей Федорович!

При нашем свидании в Москве Вы выражали сожаление, что не можете достать материал о Научно-литерат[урном] студенческом обществе, необходимый Вам для Ваших воспоминаний о нем и роли в нем, а также и вообще в научной работе, Александра Ильича Ульянова. Поэтому, отыскав такой материал в архиве Деп[артамента] полиции, я посылаю Вам копию его. Будьте добры сообщить, тот ли это материал, который Вы желали, и не нужен ли Вам еще какой-ниб[удь], в получении которого я могла бы оказать Вам содействие. Насколько я ознакомилась с

архивом Деп[артамента] полиции, я полагаю, что в нем Вы вряд ли сможете найти еще что-ниб[удь] на интересующую Вас тему. Более подробный материал должен иметься в университет[ском] архиве, который должен находиться при Петерб[ургском] университете.

Так как я предполагаю приступить с осени к изданию сборника памяти Ал[ександра] Ильича, то я была бы очень благодарна Вам за скорейшую, по возможности, присылку Вашей статьи о нем.

С искренним уважением

А. ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА.

## Увенчанный золотой медалью

Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове  
А. П. Семенова-Тян-Шанского

Лично я не имел, к сожалению, ни одного случая ни видеть, ни слышать Владимира Ильича Ленина. Но судьба не обидела меня в другом: она дала мне возможность часто встречать его старшего брата, моего сверстника Александра Ильича Ульянова.

В 1886 году, когда я был студентом II курса Петербургского университета, заведовавший в то время после смерти профессора М. Н. Богданова зоологическим кабинетом Александр Михайлович Никольский отвел мне стол для специальных занятий по зоологии. И вот тут я оказался непосредственным соседом по столам с А. И. Ульяновым.

Он был по университету на один год старше меня и поэтому не носил студенческой формы, тогда только что введенной, которую должен был носить я. Мы с ним виделись в университете очень часто, и я могу засвидетельствовать о том, как он был предан науке и погружен в свою основательнейшую специальную работу. Но вот вскоре после моего знакомства с ним (на



почве только научной, так как Александр Ильич, будучи народо-вольцем, держался очень осторожно) он стал посещать университет все реже и реже и затем исчез окончательно. Прошел слух, что он арестован.

Когда выяснилось, что он не только арестован, но и осужден по делу, о котором в то время говорили вполголоса, вместе с Шевыревым и другими молодыми революционерами, мой отец П. П. Семенов, бывший всегда защитником политических осужденных, сделал энергичную попытку спасти молодые жизни Шевырева (брата энтомолога И. Я. Шевырева), А. И. Ульянова и других. Он быстро дошел до министра внутренних дел, но встретил в лице его стену (дело сводилось к заговору против Александра III), преодолеть которую оказалось невозможным.

Это было весной 1887 года. Нам, лично знавшим многообещавшего А. И. Ульянова, осталось только горевать о его трагической гибели. Он был не только глубоко убежденным идейным революционером, но и признанным и одаренным натуралистом, увенчанным золотой медалью университета. Его преданность науке и феноменальная способность изумляли, как известно, его гениального брата Владимира Ильича Ленина.

# МЛАДШАЯ СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

Мария Ильинична Ульянова — выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, любимая сестра и друг В. И. Ленина. Подлинные тексты ее автобиографии, воспоминаний об Ильиче и письма родным из Саратовской тюрьмы хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.



## По стопам братьев

Из автобиографии

С детских лет я любила Владимира Ильича, и влияние его на меня во все поры моей жизни было очень велико. До осени 1893 года, когда Владимир Ильич переехал в Петербург, а вся наша семья в Москву, мы жили с ним вместе, сначала в Казани, а затем в Самаре и Самарской губернии, на хуторе Алакаевка. Владимир Ильич много возился со мной, как младшей в семье, позднее занимался со мной, давал указания, что читать, беседовал со мной на разные темы. Кроме него, большое влияние оказывали на меня и наши новые знакомые. После переезда из Симбирска это были главным образом знакомые старшего брата и сестры, а также М. Т. Елизарова, мужа Анны Ильиничны, представители передовой революционной интеллигенции того времени.

Во время ареста Владимира Ильича в 1895—1897 годах мне еще ближе пришлось столкнуться с революционными социал-демократами, познакомиться и с революционной нелегальной литературой.

С этого времени сначала в Москве, где я училась на высших женских курсах, а затем за границей, где я слушала лекции в новом Брюссельском университете, мне удавалось оказывать партии некоторые мелкие услуги. Осенью 1899 года я была арестована в первый раз и выслана под надзор полиции в Нижний Новгород. Начиная с 1900 года я принимала уже активное участие в работе партии и вскоре была арестована по делу Московской организации РСДРП и после 7-месячного заключения выслана под гласный надзор полиции в Самару. Там, а затем в Киеве я работала в русской организации «Искры». В начале зимы 1904 года я была арестована в Киеве по делу Центрального Комитета партии и после выхода на свободу уехала в конце 1904 года в Женеву, где в то время жил Владимир Ильич. В годы первой революции я работала в Петербурге в качестве секретаря Петербургского комитета, секретаря Васильево-Островского районного комитета, организатора, а затем секретаря большевистского центра и подвергалась аресту. В 1909 году я снова провела около года за границей, живя вместе с Владимиром Ильичем сначала в Женеве, а затем в Париже, куда он в то время переехал. Вернувшись в Россию, работала в Москве, где и была арестована в 1910 году. В 1912 году я была арестована по делу Саратовской социал-демократической группы и выслана в Вологодскую губернию на три года. Некоторую работу удавалось вести и в Вологде, и в 1914 году я подверглась там аресту при полицейском участке на один месяц. Позднее я работала в Москве и накануне Февральской революции в Петербурге, поддерживая все время тесную связь с заграничной организацией и, в частности, с Владимиром Ильичем.

После Февральской революции я с первого дня возобновления «Правды» работала в ее редакции. Эту работу я продолжала и в Москве с перенесением туда центрального органа пар-

гии. Одновременно я вела работу среди женщин, редактируя некоторые органы по женскому движению, а также вела работу среди рабселькоров, являясь членом редколлегии «Рабоче-крестьянского корреспондента».

## Отвоєванные минуты

Из воспоминаний об Ильиче

В феврале (1923 года), когда в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило некоторое улучшение и Ферстер\* разрешил ему заниматься, диктовать более продолжительное время, занятия его длились иногда по два—два с половиною часа в день. Так сказать, официальные, зарегистрированные занятия. Но в это время не включалось, конечно, обдумывание статей. Они разрабатывались в голове Владимира Ильича в то время, когда он лежал, как могло показаться, в полном бездействии. Но работа мысли продолжалась и тогда.

Время для диктовки было ограничено, надо было торопиться и вследствие этого надо было заранее подготовиться, чтобы и без того короткая возможность зафиксировать свои мысли на бумаге не пропала понапрасну. И когда Владимир Ильич бывал в лучшем состоянии, он диктовал быстро, не останавливаясь. Производило впечатление, что он не диктует, а говорит быстро, сопровождая свою речь жестикующей.

Надо еще принять во внимание, что Владимир Ильич не привык диктовать свои статьи. Он никогда не пользовался услугами стенографа, когда был здоров, указывая, что ему трудно обходиться без рукописи, которая была бы перед ним. Кажется, только один раз в своей жизни он по совету одного товарища попробовал диктовать, но опыт был неудачен. Владимир Ильич стеснялся, торопился, и сделанная стенографом запись совершенно не удовлетворила Ильича; он всю статью написал потом

---

\* О. Р. Ферстер, профессор-невропатолог. *Прим. ред.*

заново. Тем больше предварительной подготовки требовалось ему вследствие этого тогда, когда он был лишен возможности писать сам и поневоле должен был прибегать к помощи стенографа.

Расшифрованные статьи Владимир Ильич поручал читать ему, внося поправки и дополнения, работая над ними до тех пор, пока они не удовлетворяли его. И в те дни, когда работа клеилась лучше и Владимир Ильич видел результаты ее, он бывал в лучшем настроении, шутил и смеялся. Но и в это время Владимир Ильич был занят, конечно, не только записями, на которые, по формулировке врачей, «не должен был ожидать ответа». Он был занят и текущими делами, старался влиять и на них.

## Утверждение характера

Письмо родным из Саратовской тюрьмы

26 мая 1912 г.

Дорогая мамочка!

Паки и паки повторяю свою просьбу к тебе и Анечке: по возможности скорее уехать из Саратова, чтобы не печься и не дышать пылью. Вот только немало вам предстоит возни с укладкой вещей на лето.

Если возможно, я попросила бы уложить мои книги (они лежат на последней полке шкафа) в отдельный ящик, причем часть из них направить мне. Не знаю, какого содержания книги разрешаются для чтения арестованным, жалко беспокоить Анечку, но, может быть, она как-нибудь заберет хорошую толику книг и свезет их в жандармское управление, чтобы у меня был некоторый запас.

Мне хотелось бы иметь первый и второй тома «Капитала», Лансона по-французски, Шиллера по-немецки, что-нибудь по истории русской и иностранной литературы вроде Шахова, Когана, Венгерова, может быть, по истории Англии, России, что-нибудь, например, Александрова, Джаншиева, английский сло-

варь и какой-нибудь английский роман. Что касается английского Туссена, то можно и его, хотя пока не знаю, хватит ли у меня пороку на него — может быть, и хватит. Кроме того, что-нибудь из беллетристики — Ибаньеса, например. Говорят, хороший перевод Общественной пользы «Антик». Да и дешево эти книжечки стоят, можно купить несколько из них на мои деньги. Я намечаю так, первое пришедшее на память, так что не надо непременно искать этого, можно и другое, что попадется в нашем шкафу. У меня сейчас какая-то жажда книг и чтения, кажется, буду читать запоем! Если бы удалось поумнеть — то-то бы хорошо!

Чувствую себя сейчас бодро и хорошо, для гимнастики с одной стороны, и для чистоты с другой — мою по утрам пол в своем обиталище. Дело идет пока успешно. Спасибо вам большое за посуду. Кружка и чайник произвели прямо фурор, ложка тоже замечательная. Целое у меня теперь хозяйство. Маленькая кружка тоже очень кстати, потому что чашку я расколола. Увы и ах! Впрочем, это хороший знак. Провизия держится в печи — там прохладнее и мух нет.

Вообще пока можно только пожелать, чтобы такое настроение продолжалось дольше. За это время получила три письма: два от тебя (от 14-го и 18-го) и одно от Митюши. Целую его и благодарю. Ему не пишу, ибо только раз в неделю можно писать, а его очень прошу писать. Ну, листок близится к концу — до субботы! Целую и обнимаю крепко, крепко тебя, мамочка, и Анечку. Будьте здоровы, дорогие мои, чего горячо желает

ваша МАРИЯ УЛЬЯНОВА.



## ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОДЧИК «КАПИТАЛА»

Герман Александрович Лопатин — известный русский революционер, друг Карла Маркса, первый переводчик «Капитала». «Переведа около трети книги,— вспоминал Г. А. Лопатин в 1918 году,— а именно вторую, третью главы и, помнится, начало четвертой, я прервал на время свою работу для поездки в Сибирь с целью освобождения Чернышевского».

Подлинник публикуемого письма Г. А. Лопатина историку литературы Ф. Д. Батюшкову хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.

21 сентября 1913 г.

Милостивый государь Федор Дмитриевич!

Жить скромным литературным трудом — переводами с иностранных языков — я начал еще на студенческой скамье, с 1864 или 1865 года, а затем продолжал существовать почти исключительно литературным заработком в продолжение двадцати лет да самого дня моей гражданской смерти \* в октябре

---

\* 5 октября 1884 года Г. А. Лопатин попал в руки жандармов и вслед за «Процессом 21-го» оказался в Шлиссельбургской крепости. В «среде живых» его вернула революция 1905 года. *Прим. ред.*

1884 года. Поначалу я получал работу из вторых рук небольшими кусками, т. е. отдельными листами, участвуя таким образом под чужой фирмой в переводе Йегера, Отто Уле и других популярных сочинений по естествознанию. Но позже, когда за мною установилась репутация переводчика трудных сочинений научно-философского характера, я переводил их уже единолично, за собственной ответственностью, причем вышли в свет в моих переводах с английского языка:

1. Спенсер. Психология. 4 т. Два издания.
2. Социология. 2 т.
3. Этика. (Основы науки о нравственности.) 2 т.
4. Карпентр.
5. Тиндаль.
6. Роменс. Собрание статей разных авторов о Дарвине по случаю его смерти.

7. Клиффорд. 2 т. Этот труд остался ненапечатанным вследствие смерти издателя Популярной Научной Библиотеки и хранится у меня в рукописи.

С французского:

8. Тэн. 1 т.
9. Жолли.

С немецкого:

10. Маркс. Капитал. Собственно говоря, я перевел только  $\frac{1}{3}$  этого труда, а остальные  $\frac{2}{3}$  после моего ареста были dokonчены двумя из моих друзей, придерживавшимися установленной мною терминологии.

11. Затем, после моего возвращения в среду живых, я напечатал в «Минувших годах» перевод переписки Маркса и Энгельса с Николаем-оном\*.

---

\* Псевдоним Н. Ф. Даниельсона. *Прим. ред.*



12. И статью Бернштейна об отношениях Бакунина с Марксом в разные периоды их жизни (точное заглавие этой большой статьи в двух номерах я забыл) \*.

В легальной периодической печати я никогда не участвовал, если не считать кое-каких мелких газетных заметок. Правда, «Современник» перепечатал однажды из зарубежного журнала «Вперед» мою статью об одной секте под заглавием «Не наши», но статья эта не понравилась Управлению по делам печати, т. е., говоря попросту, была вырезана из содержавшей ее книжки журнала.

В настоящее время я занят собиранием и обработкой материалов для своих мемуаров. Вот все, что я могу сообщить по заданным мне вами вопросам.

Примите уверения в моем искреннем уважении

Г. Л.

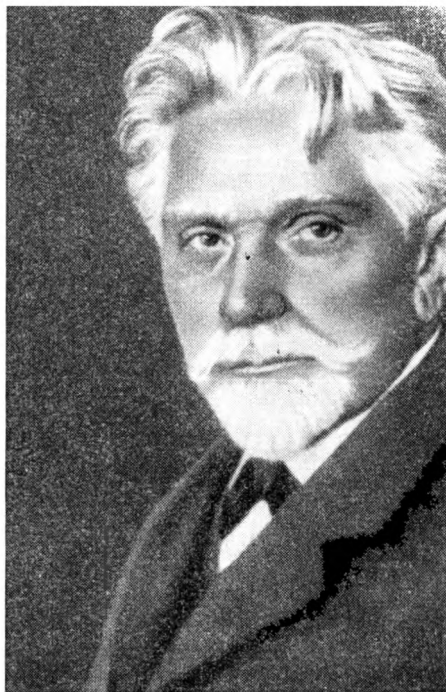
---

\* Перевод писем К. Маркса и Ф. Энгельса к Николаю-ону, сделанный Г. А. Лопатиным, опубликован в журнале «Минувшие годы», 1908, № 1. Перевод статьи Э. Бернштейна «Карл Маркс и русские революционеры» опубликован там же, № 10--11. *Прим. ред.*

А. БЕБЕЛЬ

## РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ

Август Бебель — выдающийся немецкий социал-демократ, автор книги «Женщина и социализм». Подлинник его письма профессиональной революционерке и общественному деятелю А. М. Коллонтай о первом женском дне, проведенном в России в 1913 году, хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.



Шенеберг—Берлин  
26 января 1913 г.

Уважаемая товарищ Коллонтай!

Ваше сообщение о том, что русские товарищи-женщины в течение февраля\* собираются впервые отметить женский день в России, я приветствую с большим удовлетворением.

Больше чем в какой-либо другой стране мира русские женщины боролись за свое собственное равноправие и больше чем в какой-либо другой стране они героически боролись за освобождение всего народа от всех пут угнетения, отдав этому все

\* Датируется по старому стилю. *Прим. ред.*

свои силы и принося огромные жертвы во имя победы, свободы, добра и жизни.

Ни одна нация не может сравниться с русской по количеству жертв, принесенных ею, и ни один народ не вел своей борьбы в столь трудных, казавшихся порой безнадежными, условиях.

Таким образом, надо рассматривать борющихся женщин России как авангард борющихся женщин всех стран без опасения впасть в преувеличение и лесть.

Я уверен, что первый женский день в России будет проведен под знаком тех дней, ради которых русские женщины выдвинули так много борцов и принесли столько жертв.

Я желаю провести с успехом женский день в России.

С партийным приветом, жму руку.

А. БЕБЕЛЬ

М. В. ФРУНЗЕ

## ТРУД ПОБЕДИТ!

Осенью 1919 года молодую Республику Советов обрадовали вести, пришедшие из Туркестана. Части Красной Армии под командованием М. В. Фрунзе, освободив города Орск и Актюбинск, завершили разгром Южной группировки белых войск. Белогвардейцы образумились не сразу. Командир 1-го Оренбургского казачьего корпуса генерал В. Н. Акутин издал приказ, предрекавший скорую гибель большевиков. В ответ на приказ и появилось публикуемое в сокращенном виде обращение М. В. Фрунзе «К оренбургским казакам». Подлинный текст документа хранится в Центральном государственном архиве Советской Армии.



«В то время как добровольческая армия генерала Деникина, поддержанная доблестными английскими друзьями деньгами и снаряжением, громит советские войска и, забрав Чернигов, Орел, Воронеж, подошла к Москве: в то время как лихая конница генерала Мамонтова, забравшись в тыл красных, громит города, железные дороги и уничтожает инженерные и интендантские склады; в то время как доблестные войска генерала Юденича совместно с английским флотом взяли Гатчину и не сегодня-завтра возьмут Петроград — в это самое время оренбургские казаки, забыв долг и присягу, с предательским кличем: «Долой войну!» бросаются в объятия красных, думая спа-

сти свою шкуру. Ошибутся предатели, не пройдет и месяца, как Советская власть будет низвергнута...»

Такими словами начинается обращение — приказ по 1-му Оренбургскому казачьему корпусу генерала царской службы Акутина, изданный 1 октября текущего года.

Ныне месячный срок, назначенный генералом, истек. Взглянем же, насколько действительность отвечает генеральским предсказаниям.

Рухнула ли Советская власть? Нет, она существует назло всем врагам трудового народа, и ее существование прочнее, чем когда-либо. Что это так, достаточно вдуматься в следующие слова заклятого врага трудовой России, английского первого министра Ллойд-Джорджа, на днях сказанные им в английском парламенте: «По-видимому, надеждам на военный разгром большевиков не суждено сбыться. Наши русские друзья за последнее время потерпели ряд чувствительных неудач...»

Кто же такие русские друзья господина Ллойд-Джорджа? Это Деникин, Юденич, Колчак, продавшие английскому капиталу достояние русского народа — русскую руду, лес, нефть и хлеб и за это удостоенные звания «друзей».

Что же случилось с друзьями Ллойд-Джорджа, что заставило потерять веру в военный разгром большевиков?

Ответ на это дает картина военного положения на фронтах Советской Республики.

Добровольческая армия генерала Деникина, несмотря на помощь английских разбойников, разбита в ряде боев и отходит по всему фронту: Орел, Воронеж и Чернигов взяты обратно советскими войсками, неудержимо стремящимися дальше на юг. Конница мародера и разрушителя городов Мамонтова разгромлена под Воронежем славным казачьим корпусом тов. Буденного и прекратила не только дальнейшее разрушение народных богатств, но и свое существование как боевой единицы. Юденич, уже мечтавший накинуть петлю на шею петроградским рабочим, разбит и прогнан к границам Эстляндии. Его эстонские, латышские и литовские друзья, испугавшись успехов Крас-

ной Армии, изменили ему и ищут ныне мира с Советской Россией. Армия Колчака, разбитая на путях к Петропавловску и Ишиму, ныне окончательно разгромлена под стенами Омска и десятками тысяч сдается в плен; 14 ноября взят Омск, а жалкий кандидат на царский трон сухопутный адмирал Колчак позорно бежал под защиту своих японских «друзей».

Таковы факты последних дней. О чем же они говорят? О том, что двое из трех главнейших врагов трудовой России, Колчак и Юденич, уже сведены со сцены; что последнему защитнику богачей и помещиков генералу Деникину тоже придется такой же конец; и о том, наконец, что Советская власть, являющаяся властью трудящихся, несокрушима и под сенью ее вслед за оренбуржцами и сибиряками скоро соберется все трудовое казачество, а с ними и вся Россия. И тогда... тогда наступит грозный и страшный момент для всех предателей интересов русского народа, для всех английских, японских и американских «друзей», торгующих честью и достоинством России.

«Всем тем, кто ушел к красным, нет никакого оправдания и извинения, и в будущем им не будет ни прощения, ни пощады...» Так грозит в своем приказе генерал Акутин.

Обратите внимание на эти слова, оренбуржцы, запомните их и, затравив царскую лису в ее последнем убежище, покажите — кто у кого будет просить пощады и милости.

«Неужели,— продолжает генерал,— падая к ногам хамов-большевиков, казаки не понимали, что этим отдают на поругание своих матерей, жен, дочерей и сестер. Вопли насилуемых, стоны расстреливаемых, охваченные огнем станицы скоро покажут им, что они помогли делу палачей, висельников, грабителей, разоряющих страну для удовлетворения своей алчности».

Судите сами, товарищи казаки. Вы уже два месяца живете с нами и могли убедиться в «справедливости» этих слов и пророчеств. Нет, не предательница и не лиходейка своей Родины Советская власть. Она работает, насколько может, для блага трудящихся, и не ее вина, если усилия русских и зарубежных

хищников до сих пор не дают нам возможности к мирному труду, к делу строительства новой, свободной, счастливой, мощной Родины.

А то, что дворянские-генеральские уста называют Советскую власть властью «хамов»,— это действительно верно. Да, у власти в России нынче стоят те, кого баре презрительно называли «хамами», те, кто работал в поте лица на пашнях, на фабрике и заводе, те, у кого не выхоленные белые ручки, а покрытые мозолями руки рабочего и крестьянина. И, конечно, место трудового казака не в рядах белоручек, а с теми, кто стремится к утверждению господства трудящихся.

Генерал дальше пишет: «Неужели они (казаки) не понимали, что, разрушая фронт Южной Армии, они дают выход туркестанским большевикам, закупоренным со всех сторон. Неужели не знали, что, допуская соединение Туркестана с Россией, они дают возможность вывоза оттуда хлопка, необходимого для выработки ткани. Неужели не знали, что, разрушив фронт, они дадут возможность большевикам отправить в Москву и Петроград хлеб, где теперь рабочие пухнут с голоду».

Генерал раскрыл окончательно свои карты. Понятно ли теперь, товарищи казаки, почему царит голод в России? Понятно ли, почему у вас нет ткани для одежды, орудий для работы и нефти, керосина для отопления и освещения? Шайка царских генералов, горящая ненавистью к рабоче-крестьянской власти, к власти «хамской», задалась целью уморить голодом Россию: авось-де тогда одумается мужик и посадит барина на его насиженное место. Да, надо думать, что оренбуржцы действительно поняли, где их место, и помогли России проложить дорогу к хлопку. Надо надеяться, что скоро это поймут и остальные казачьи войска, и тогда у нас будет нефть, железо и уголь, а с ними заработает наша промышленность, с ними явится возможность залечить все раны и зажечь новую, счастливую жизнь.

В заключение генерал призывает бороться до «полного испарения Советской России, до полного уничтожения ее Красной

Армии, до полного торжества правды над неправдой, добра над злом и света над тьмой». Надо признать, что над испарением Советской России, над уничтожением ее Красной Армии господ Акутины, Дутовы, Колчаки и Деникины... трудились и трудятся весьма усердно; но испаряется пока что не Советская Россия, а ее враги. Где ныне бродит бывший владыка Оренбургского края генерал Дутов? Как Колчак и Юденич? Где, наконец, и сам генерал Акутин?

Генералы зовут бороться за правду, свет и добро. Слова хорошие, но надо сказать — за какую правду, за какие свет и добро. За дворянские или мужицкие? За рабочие или купеческие? В этом вся суть. Красная Армия тоже борется за победу правды и справедливости, но ее правда — есть правда рабочая, правда крестьянская, справедливость — есть справедливость трудящихся. О какой правде радеют царские генералы, дворяне и банкиры — догадайтесь сами, казаки.

Узкие властолюбцы и себялюбцы, люди, оторвавшиеся от своего родного народа, предатели его интересов, предатели своей страны, люди, не могущие свыкнуться с мыслью, что русский народ в холопское ярмо загнать больше нельзя, продолжают еще мешать России строить новую жизнь. Но спор их с народом, спор труда с капиталом, историей взвешен и разрешен. Победит труд и победит навсегда.





Д. А. ФУРМАНОВ

## САМОРОДОК КРАСИВЫЙ, ЯРКИЙ, САМОБЫТНЫЙ

Биографический очерк Д. А. Фурманова «Чапаев» публикуется по тексту листовки «Памяти героя пролетарской революции и полководца красноармейцев Василия Ивановича Чапаева.» Листовка, изданная Политотделом РВС Туркестанского фронта в 1919 году, хранится в Центральном государственном архиве Советской Армии.

Точной и подробной биографии покойного Василия Ивановича Чапаева я не знаю. Сообщу лишь те отрывочные сведения, которые запомнились мне из многих рассказов, что вели мы с ним во время бесконечных странствований на перекладных вдоль и поперек по Уральским степям. Чапаев говорил мне, что годы отрочества и самой первой юности как-то особенно болезненно встают в его памяти. Он, еще нетронутый и чистый, уже тогда попал в семью зараженных и развращенных людей, которые отравили его юношеские думы и сбили на узкую, торную дорогу.

Чапаев рос как все: ничего из ряда вон выходящего, ничего выпуклого и замечательного. Он рос посредственным, сереньким

человеком. Ничто не выделяло его из круга обыкновенных, малозаметных людей. Скоро он обучился плотничеству, столярному и малярному ремеслу и занимался этими работами до 18-ти лет, все больше по Балаковскому уезду. Затем 18-ти лет взял шарманку, захватил с собой девушку Дуню и отправился по белому свету, а главным образом по приволжским городам. Этим делом он занимался несколько лет, вплоть до солдатчины. А тут уже как поступил, так и пошло, и пошло колесом. До самой смерти из-под ружья так и не выходил: то действительную отбывал, то германская война наступила, а там и революция началась.

Революция застала Чапаева неготовым. Да и откуда было бы ему оказаться готовым? Ведь только подумайте: до 31 года он был совершенно безграмотным и лишь перед самой революцией обучился писать и читать. Зато с тех пор он с жадностью накинулся на чтение и за короткое время проглотил огромное количество книг. Он читал главным образом о подвигах Ганнибала, Наполеона, Гарибальди, Суворова, Ермака, Пугачева, Стеньки Разина. Он знал биографии всех этих разнообразных героев и немало всяких действительных и анекдотических случаев из истории их боевой жизни. Но кроме этого он читал и книги «политические», хотя учения различных политических партий не уяснил себе до самого последнего времени. Он рассказывал мне, что первое время даже записался в партию кадетов, потом переключался от них к правым эсерам, отсюда перешел к анархистам, а от них к коммунистам-большевикам. Последнее время Чапаев был членом Российской коммунистической партии большевиков и умер с полным сознанием того, за что борется эта великая партия. Чапаев в 1919 году уже совершенно был не тем, чем он был в 1918 году. Его боевая карьера начинается летом 1918 года, когда он с небольшим отрядом все время гоняет казаков по степи, всюду их бьет и не дается в руки. Это был еще тот партизанский период в строительстве нашей армии, когда только отдельные отряды отважных красногвардейцев сдержали натиск белых окраинных полчищ.

Чапаев был одним из тех славных вождей, которым выпала на долю тяжелая обязанность парализовать отчаянные первые атаки остервеневшей буржуазии. Огромное большинство поистине легендарных подвигов Чапаева относится именно к середине и концу 1918 года. Вскоре он был послан в Академию Генерального штаба, но пробыл там недолго и в начале 1919 года снова вернулся в степь.

Скоро он был назначен начальником особой группы, действовавшей тогда в районе Александрова-Гая. Здесь я с ним впервые познакомился.

Чапаев, несмотря на безалаберно проведенную юность, несмотря на то, что долгое время был совершенно безграмотен и был оторван от культурной жизни, имел способность чутьем понимать все тонкости этой культурной жизни. Он довольно удачно характеризовал литературные типы прочитанных им книг, понимал музыку простых и глубоких мотивов, любил пение. Пение он так любил, что когда мы однажды, человек 10—12, глубокой ночью заплутались в степи и вынуждены были в дождливую холодную погоду ночевать под стогом в открытом поле,— помнится, он и тогда слегка напевал, ежеминутно рискуя привлечь на себя внимание какого-нибудь шального казацкого разъезда. Чапаев был чистым, благородным и совершенно бескорыстным. Он был смелым и честным воином, каждую минуту готовым умереть за дело социализма. В его характере вы найдете много неустойчивого, а в поступках много резкого и подчас сумасбродного, но никогда и ничего вы не найдете в них лукавого, бесчестного и недостойного. На Чапаева можно было сердиться, но не любить и не уважать его было невозможно.

Я познакомился с Чапаевым раннею весной этого года. С тех пор мы с ним совершенно не расставались почти до самой его смерти, разделяя труды и опасности военной жизни. Впервые мы увиделись с Чапаевым в Александрове-Гае, куда он приехал командовать отдельной группой. Сегодня приехал, а завтра мы пошли в наступление. С тех пор много было совер-

шено походов, много было вынесено битв, много пережито было мучительных волнений. Я видел и наблюдал Чапаева за эти долгие месяцы в самой различной обстановке: я видел его пляшущим перед массой красноармейцев, брызжущим удалью и весельем; видел его и в первой цепи, когда под ружейным огнем, верхом на коне, он спокойно и властно отдавал боевые приказания. Это был замечательный самородок: красивый, яркий и самобытный. С Чапаевым можно было устать, с ним можно было исстрадаться, но никогда не могли бы вы с ним заскучать. Это был удивительно живой человек: он каждую секунду кипел каким-нибудь страстным желанием, он всегда к чему-нибудь рвался, чего-нибудь искал и узнавал, всегда был полон желаний и жадно стремился эти желания воплотить в действительность.

Помню, еще при первом свидании в Александрове-Гае меня поразила эта страстность порывов, эта всесокрушающая энергия. Приехав на рассвете, он поутру уже мчался на позиции, а на следующее утро вел в наступление славные полки и одним из первых вступил в станицу Сломихинскую, занятую после крепкого боя. Весь день он работал без перерыва, а когда пришла ночь и мы, утомленные походом и боем, легли спать, Чапаев сел за карту и выводил, расчерчивал целую ночь, всю ночь до утра, когда мы уже стали подниматься на работу.

Я предположил тогда, что эту колоссальную энергию Чапаев развивает лишь попервоначалу, не затомясь и желая кроме того зарекомендовать себя перед нами с лучшей стороны. Но теперь, оглядываясь назад, я вижу, что за все эти месяцы нашей совместной работы дни его жизни похожи один на другой, похожи именно в том смысле, что все они заполнены непрерывным и напряженным трудом. Чапаев не любил сидеть без дела. Он поэтому всегда утомлялся в городах, где приходилось выжидать и отдыхать. Он чувствовал себя в родной стихии только среди своих славных полков, среди боевых товарищей, таких же орлов, как он сам.

Чапаев совершенно немыслим без своих друзей, от которых все время пахнет дымом, порохом... Он постоянно вращался в их кругу, и к ним невольно привились его привычки, вкусы — это крепкая семья самородков-богатырей. Только истинные герои могли заслужить внимание Чапаева. Других он мог уважать, мог прислушиваться к ним, мог с ними считаться, но сердцем принять мог только героя. У Чапаева всегда была целая семья боевых командиров. Эти Кутяковы, Потаповы, Суровы, Михайловы, Соколы — это все такие же герои, каким был и покойный Чапаев. Только Чапаев был первым между равными, Чапаева они любили, чтили, а порой и боялись его неукротимого гнева.

Сам Чапаев постоянно чувствовал свою неспособность к работе спокойного строительства и подобную работу обычно переплагал на кого-нибудь другого. Зато не было лучшего командира, непосредственного руководителя в боях. Он моментально ориентировался в самой сложной обстановке и находил всегда легкий и правильный выход. Красноармейцы верили ему безгранично и любили его больше всех командиров. Достаточно было узнать им, что приехал на позиции сам Чапаев, как сразу настроение поднималось, забывались невзгоды и неудачи боевой жизни и всех охватывал какой-то энтузиазм. «Раз Чапаев с нами — значит, мы спокойны. Чапаев не выдаст. Чапаев непременно победит». Вот что говорили красноармейцы, когда Чапаев появлялся среди них. Поэтому частое пребывание его на позиции приносило огромнейшую пользу в смысле подъема духа, поднятия и укрепления дисциплины. Там, где появлялся Чапаев, немедленно закипала работа, немедленно же устанавливались спокойствие и порядок.

Из Александрова-Гая на Сломихинскую, оттуда на Уральск, на Бузулук и на Уфу, из Уфы снова на Уральск — вот этапы его боевых походов с весны этого года и по день ужасной катастрофы. Еще не было случая, где бы Чапаевская дивизия отступала в бою и была разбита. Бывали отдельные случаи мелких неудач, но вся история боевой жизни дивизии — это сплошная

картина славных походов, жестоких битв и неизменных побед. Вся дивизия — одно живое тело, проникнутое единым стремлением, всегда готовое к любым испытаниям. И в укреплении этого тела огромную роль играл сам покойный Чапаев вместе с командирами. Теперь дивизия осиротела. Не стало славного вождя, боевого командира. Но все еще сильно стальное могучее тело дивизии, его не может ослабить смерть даже такого вождя, каким был Чапаев. Вечная память тебе, дорогой товарищ. Всю боевую жизнь ты горел, как костер; все искал, все стремился куда-то, все рвался вперед и погиб, как подобает погибнуть честному революционеру: с оружием в руках, весь пробитый вражескими пулями.

Существует несколько версий о том, как погиб Чапаев, но одна из них является наиболее часто повторяемой, наиболее вероятной.

Прежде всего кое-что о той общей обстановке, в которой он жил перед смертью. Дивизия шла на юг, к морю. После того как освобожден был Уральск, ее победное шествие шло безостановочно через Чаганский, Лбищенск и Сахарную — на Гурьев. Чапаев, по природе своей человек боевой и позиционный, никогда не мог засидеться в штабе и все время рвался на позицию. Бывали случаи, когда он на долгое время совершенно оставлял штаб и непрерывно переезжал из полка в полк, непосредственно руководя операциями и участвуя в боях. Таким же образом он вел себя и до последней минуты. Мы часто навещали позиции, объезжали бригады и полки и настолько уже были уверены в прочности победы, что чем дальше, тем меньше обращали внимания на охрану глубокого тыла, отдавая все свое внимание почти исключительно позиции и ближайшей к передовым окопам местности.

Казачи под натиском наших войск с боем отходили в глубь степей и выявляли совершенную неустойчивость и неспособность активно сопротивляться. Только временами, чувствуя какие-либо затруднения и уловив удобный момент, они делали стремительный набег, пытались произвести суматоху и разгро-

мить. Надо сказать, что эти набеги обычно кончались для казаков очень худо. Наши части, уже хорошо искушенные в борьбе с казачеством, меняли их партизанскую тактику и применялись к ней всемерно: казаки обычно встречались ураганным огнем и оставляли у нас лошадей и трупы. Так, например, всем памятен схватки под Генварским, где были захвачены целые сотни поседланых казацких коней, оружие и все казацкое добро. Сам Чапаев, бившийся в степях, еще в прошлом году все время предупреждал командиров о необходимости проявлять максимум бдительности, ибо набег может быть и среди бела дня, и с любой стороны. Чапаев, так хорошо знавший казацкую тактику и так часто учивший осторожности своих боевых командиров, сам сделался жертвой своей неосторожности и непредусмотрительности.

Штаб стоял в Лбищенске. Части вышли на Сахарную. Чапаев только что вернулся с позиции. Его предупредили, что около Лбищенска бродят казацкие разъезды, был даже случай, когда казаки сделали набег на заплутавшийся в степи наш обоз. Но Чапаев не придавал всему этому особого значения и не принял тех мер, которые следовало бы принять. Правда, караул и посты в Лбищенске были на местах, правда, что высланы были наши разведки в степь. Но ни караулы, ни разъезды не нащупали неприятеля, уже почти вплотную подошедшего ко Лбищенску. В ночь с 4 на 5 сентября, часа приблизительно в четыре, казаки огромною массой налетели на Лбищенск и кинулись прямо к учреждениям. Во всей операции огромную роль играли сами жители, руководившие и указывавшие все, что им было известно. Связь со всех концов была порвана казаками заблаговременно.

В общей суматохе сначала трудно было что-либо разобрать: ружейные залпы, пулеметный треск, вой, отчаянные крики жителей — все смешалось в ужасающую какофонию. В это время в середину, по главной улице, въехал на повозке казацкий пулеметчик, держась обеими руками за пулемет. На него кинулся наш начальник штаба, бывший офицер товарищ Новиков, сбил

его с повозки, отнял пулемет и начал бить по наступающим казакам. Вместе с ним был и военный комиссар дивизии товарищ Батулин.

Было выпущено две ленты, но тут вдруг застрял патрон, пулемет перестал работать, и казаки, воспользовавшись моментом, наскочили и стали рубить отважных пулеметчиков. Батулин был зарублен в куски, а Новиков, тяжело израненный, каким-то чудом успел заползти в халупу и там, спрятавшись в подполье, продержался до подхода наших войск. Он был подобран и в данное время лечится, кажется, в Сызрани.

Был расстрелян заведующий политотделом товарищ Суворов, а вместе с ним и некоторые ближайшие сотрудники: товарищ Крайнюков, бывший в то время комиссаром штаба дивизии, а до этого работавший председателем Лбищенского Ревкома, был опознан и указан одною жительницей. В то время он был уже ранен в грудь и торопился вскочить на лошадь, обливаясь кровью. Казаки захватили его и тут же расстреляли.

Чапаев в это время, собрав человек двести храбрецов, пытался было прорваться сквозь густую цепь казацкой конницы. Но патроны уже подходили к концу, а пополнить было неоткуда. Казаки, видя это, напирали все смелей и смелей. Вот уже наших прижали к самому берегу, вот они стоят почти безоружные и частью кидаются с крутого откоса в мутные воды Урала, частью гибнут здесь же, на месте, пробитые казацкими пулями.

Чапаев все еще крепится. Он в одной руке держит винтовку, в другой револьвер. Выхода совершенно никакого нет, но он все еще не сдается. Уже много трупов полегло вокруг него, много бойцов утонуло в холодных волнах, а Чапаев, словно привидение, все еще стоит на обрыве. Кто видел — говорит, что это была замечательная, сильная, душу раздирающая картина. Он был уже ранен в руку и в лицо. По щеке струилась кровь, он вытирал ее рукавом рубахи. Потом видели, как он опустился на землю, может быть, раненный еще раз. Снял сапоги и



кинулся в волны. Больше его не видели. Раненный и обессиленный, он не мог переплыть широкий и беспокойный Урал. Иные говорят, что он все-таки доплыл до следующего берега и уже только на берегу умер от жестокой раны, полученной от пущенной вдогонку с другого берега пули. Казаки по обеим сторонам Лбищенска поставили пулеметы и косили жестоким огнем кидавшихся в воду. Одна из этих пуль, видимо, положила и Чапаева. Иные говорили, что он забрался на бродившего в степи верблюда и уехал. Но все это маловероятно.

Чапаев утонул в Урале.

# О ДНЯХ МИНУВШИХ

---





Н. А. ДУРОВА

## ВСЕ, ЧТО ПРИПОМНИЛОСЬ

Прославленная героиня Отечественной войны 1812 года Н. А. Дурова подписывала свои произведения псевдонимом «Александр Александров». Столетней давности автографы Н. А. Дуровой сохранились в рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Один из них — автобиография, предназначенная для «Энциклопедического словаря, составленного русскими учеными и литераторами». Два других — письма редактору отдела словесных наук этого издания М. Л. Михайлову. Автобиография замечательной женщины оказалась не напечатанной в свое время из-за прекращения выпуска очередных томов «Энциклопедического словаря».



Милостивый государь!  
Михайло Ларионович!

Извините, что так поздно отвечаю вам, меня не было дома. По возвращении мне отдали ваше письмо, которое, однако же, по адресу рисковало возвратиться назад и возвратилось бы, если б сестра моя не жила у меня, ей отдали письмо, а она уже передала мне. Если случится еще писать об чем, адресуйте просто: Александрову в Елабугу.

Что до желанья вашего поместить мою биографию в словаре, я охотно соглашаюсь и постараюсь прислать вам что могу

припомнить из времен от 16-го года до 41-го, то есть от отставки до отъезда моего из Петербурга навсегда.

С искренним уважением к вам  
честь имею быть вашим покорным слугою

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

23 июля 1860 года.

Милостивый государь!  
Михаил Ларионович!

Надеюсь, вы примете в уважение мои 70 лет, усталость от жизни, какова была моя, и простите неблагоприятность листов, при сем посылаемых. О получении прошу уведомить.

Преданный слуга ваш

АЛЕКСАНДРОВ

10 августа 1860 года.

Родился я в 1788 году, в сентябре. Которого именно числа, не знаю. У отца моего нигде этого не записано. Да, кажется, нет в этом и надобности. Можете назначить день, каковой вам угодно. На семнадцатом году от роду я оставил дом отцовский и ушел в службу. Подробности этого события и дальнейший ход происшествий, последовавших за вступлением в Коннопольцы, описан в Записках, изданных под названием: «Девушка Кавалерист» в двух частях и еще в третьей под названием «Записки Александра». Вы можете извлечь из них все, что будет прилично по вашему усмотрению. В 1816 году я, по желанию отца, вышел в отставку, хотя с большим нехотением оставлял блестящую карьеру свою.

Заменив уланский колет фракком, я едва не пришел в отчаяние, когда первой часовой, мимо которого я прошел, не стал во строю и не взял на плечо, как следовало при виде офицера. Не принимая в соображение того, что воинские почести отдаются мундиру, а не званию, и что фельдмаршал в партикулярном

платье может проходить мимо всех возможных постов военных, не обращая на себя никакого внимания, я не мог выносить такого совершенного отчуждения от главного элемента жизни моей. Постоянная грусть глубоко лежала в душе моей, я не выдержал и через год уехал к отцу, в провинцию, где он служил городничим. Там дни мои потекли мирно и единообразно, с утра до вечера я или ездил верхом или ходил пешком по нашим картинным местам, исполненным диких красот северной природы. Такая усиленная деятельность несколько не вредила мне, напротив, была даже благодетельная, потому, что, вставая в три часа утра, седлая сам свою лошадь, летая на ней по горам, долам и лесам или пешком взбираясь на крутизны, спускаясь в овраги, купаясь в реках и речках, я не имел времени обращаться мыслями к минувшему (увы! горе мне!), невозвратно минувшему.

Так прошел год. Я опять уехал в Петербург. Общество провинциальное показалось мне нестерпимо скучным. В Петербурге поселился я у дяди своего, Дурова, который был некогда инспектором при карантине в Симферополе, за какой-то недосмотр попал под суд и по делу своему должен был жить в Петербурге. По прежним связям он имел обширное и знатное знакомство. через него и я познакомился со многими из его или сослуживцев или благодетелей, потому что дядя был беден и имел необходимость в пособии старых знакомых. Меня очень ласково принимали в доме князя Салтыкова, известного своими музыкальными вечерами. Слепой князь очень любил меня, а я бывал у него почти каждый день. Также много удовольствия находил я в доме князя Дундукова-Корсакова, у которого собиралось всегда отлично образованное общество, и тоже занимались музыкою. Познакомился было и я с княгинею Смоленскою, Кутузовою, женою нашего бывшего фельдмаршала, но знакомство это прекратилось довольно оригинальным образом: один раз я пришел к княгине часов в семь вечера и пробыл у нее до 10-ти. Когда я хотел проститься с нею, кто-то сказал, что идет ливной дождь. «Как же ты пойдешь?» — спрашивает меня кня-

гиня. «Ничего, дойду, я привык». До самой квартиры дяди моего, на Сенной площади, дождь щедро обливал меня с головы до ног — но мне было не до него. Негодование кипело в душе моей: как! думал я, проклятая старуха, имела дух спрашивать меня, как я пойду в такой дождь? Тогда как у нее полные каретники экипажей, а конюшни — лошадей! С тех пор я уже никогда не был у нее. Она, впрочем, продолжала оказывать мне внимание: первая кланялась в театре и, встретясь как-то со мною на Дворцовой набережной, очень обязательно спрашивала: «Что так долго не был у меня? Стыдно забывать жену бывшего начальника». Я отвечал холодно-вежливо, что не имел времени. Поспешил раскланяться и более уже не видел ее никогда.

До издания Записок мое существование мое считалось от многих мифом а другие полагали, что я не выдержал трудной кампании 12-го года и умер. В последнем уверял меня очень серьезно важной и сановитой господин, сидевший рядом со мной в филармонической зале, где давали концерт. Мы сидели внизу эстрады, на которой играл оркестр, прямо против нас в последнем ряду сидела дама, в розовом платье, смуглая, сухощавая и уже не первой молодости. Я спросил своего соседа, кто она. «Храповицкая,— отвечал он,— жена генерала, который стоит у ее стула». — «Говорят, она присутствовала при сражении, где находился муж ее?» «О, да! — с восторгом воскликнул мой собеседник,— таких штучек у нас не много!» «Я, однако же, слышал...», — начал было я... Сосед не дал договорить: «Да, появилась было, да не выдержала — умерла». Странно было мне это слышать, однако ж я промолчал и очень спокойно позволил считать себя умершим. Досадно было мне любопытство, с которым смотрели на меня встречающиеся на гуляньях в саду, по Невскому или в других публичных местах, потому что, хотя существование мое и отвергалось многими, истина должна же была по временам оказываться, тем более что у меня были в Петербурге родные: дядя Дуров и двоюродный брат штабс-капитан Бутовский, известный тогда переводом Крестовых походов. У последнего я жил и был знаком с целым кругом его об-

щества. Прожив около трех лет в Петербурге, я уехал в Полтавскую губернию в Пирятин, к дяде, помещику Александровичу, но от него скоро переселился к тетке, вдове Значко-Яворской, жившей близ Лубен — города, известного своей аптекой и съездом в мае для питья соков из трав.

Целый год провел я у моей доброй тетки в теплой, ароматической атмосфере Малороссии. Я поздоровел, повеселел и загорел, как цыган, что очень сердило тетку и смешило меня. «Да ведь я солдат, тетенька! Что значит для меня загар?» — «От се! что значить загар! Та вже ж вы не мужик простой, паныч!». Счастливо и покойно прожил я этот год у моей незабвенной тетки. Но в начале другого года пребывания моего в Малороссии получил я письмо от отца. Он приказывал мне привезти к нему мою сестру, только что вышедшую из Екатерининского института, где она воспитывалась.

Возвратясь в свою провинцию, я оставался в доме отцовском с 1822-го года по 26-й. В течение этого времени отец умер, а брат, занимавший его место городничего, был переведен в этом же звании в Елабугу, куда переехал и я с ним и его семейством. Здесь жил я до 1835-го года. От нечего делать вздумалось мне пересмотреть и прочитать разные лоскутки моих Записок, уцелевшие от различных переворотов не всегда покойной жизни. Это занятие, воскресившее и в памяти и в душе моей бывшее, дало мне мысль собрать эти лоскутки и составить из них что-нибудь целое, напечатать. Я занялся этим делом прилежно, в несколько месяцев кончил и, списавшись предварительно с Пушкиным, уехал в Петербург в 1836-м году.

Александр Сергеевич принял меня очень радушно, прочитал мои Записки и на просьбу мою поправить их отвечал, что поправлять нечего и что он предлагает мне свое содействие во всем, что будет необходимо при издании Записок. Все было бы хорошо, если б я, на беду свою, не отыскал двоюродного брата своего Бутовского. Он все дело испортил. У него был какой-то особый взгляд на вещи, следуя которому он принялся распоряжаться всем, что касалось до издания Записок, по-своему.



Горе овладевает мною, даже теперь, при воспоминании, что лучшее дело мое в жизни было им втоптанно в грязь. На Записки мои еще прежде появления их в свет напала толпа порицателей и клеветников. Чего никогда не случилось бы, если б издателем их не был сумасброд. А тут же Плетнев, искренний друг Пушкина, сказал мне: «Вы напрасно хотите поручить издание ваших Записок Александру Сергеевичу, ему с своими делами трудно справиться; он по вежливости возьмется, но это будет ему в тягость». Так соединилось все, чтоб испортить и затруднить путь мой на литературном поприще, на которое вступил я с такою неопытностью и под таким жалким руководством. Сначала, однако ж, Записки наделали много шума, кроме того что происшествие было недюжинное, оно имело достоинство истины, подтвержденной многими и очевидцами и сослуживцами моими. Но вскоре, однако ж, все, что интересовалось мною, охладело ко мне вдруг. Долго недоумевал я и терялся в догадках о причине такой странности, наконец, оскорбленный до глубины души незаслуженною переменою, я написал мой «Год жизни в Петербурге, или невыгоды третьего посещения». Небольшая книжка эта образумила легковерных, и хотя не назвал никого, но описал их так верно и в таком виде, что они всеми силами старались не узнать себя и, чтоб успеть в этом, обратились снова ко мне с изъявлением ласки и доброжелательства.

Но между тем мне надо было чем жить. Записки мои, так трудно направленные, принесли мне пользу ничтожную, о втором издании нечего было и думать, первого оставалось еще более 1.000-чи. Я стал писать повести, описывать то легенды, то поверья, то кой-что из рассказов жителей того места, где квартировал, быв еще в службе. Один из этих рассказов, под названием «Павильон», доставил мне знакомство с издателем и редактором «Отечественных записок», журнала, только что начавшего выходить тогда. Я поехал с моим «Павильоном» к Андрею Александровичу Краевскому, прося его купить у меня эту повесть, дать мне вот такую-то цену за нее, тотчас же, всю сполна и, сверх того, взять меня в сотрудники. Приступ странный и


просьба дикая, но Андрей Александрович принял все это ласково-вежливо, согласился на все и сказал только, что ему необходимо прочитать статью. Дней через пять он написал мне, что «Павильон» хорош, и отдал мне деньги, как я желал, все вдруг. Бескорыстие и правота молодого журналиста мне очень понравились, и я остался его добрым знакомым на все время пребывания в Петербурге. Наконец «Записки» напечатались. Насилу мог я взять их от издателя и долго пролежали бы они на столе моем, если б, к счастью, благородный Смирдин не взял их у меня все, то есть 700 экземпляров, оставшихся от первоначальной распродажи. Это обстоятельство дало мне возможность уехать домой. В 41-м году я сказал вечное прости Петербургу и с того времени живу безвыездно в своей пещере — Елабуге.

Вот все, что я мог припомнить и написать. Посылаю как есть, со всеми недостатками, то есть: помарками и бесчисленными орфографическими ошибками. Было у меня много писем и записок от Пушкина и два письма от Жуковского, но я имел глупость раздарить их.

Н. М. СМЕРНОВ

## ПУШКИНУ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

В 1882 году издатель журнала «Русский архив» П. И. Барте-нев опубликовал часть «памятных заметок» сенатора Н. М. Смирнова за 1842 год. Позже стало известно о судьбе его ранних дневников, обнаружен-ных историком В. О. Ключев-ским, который писал в 1909 го-ду, что они «не лишены исто-рического интереса».



У нас часто проводят вечера Жуковский, А. С. Пушкин и А. И. Тургенев, которые, верно, самые любезнейшие из всех тех, которых мы встречаем в петербургских вечерах. Жуковский более молчалив и очень любит слушать, но когда развеселится, рассказывает очень оригинально особенные смешные анекдоты. Он был одним из главных членов Арзамасского общества, кажется, даже журналистом. Сие общество состояло из шутников, буффов, буффонили на словах и на бумаге Блудов, Тургеневы, Жуковский, и многие другие были сего общества.

Жуковский, можно сказать, имеет девственную душу. Он всегда спокоен и на вид кажется угрюм, когда же развеселится,

смеется du rire d'un brave homme \*. Кто его один раз увидит, уверится по одному его лицу в спокойной, доброй и чувствительной душе. Я никогда не видал его в гневе или в пылу какой-нибудь страсти, никогда не слышал его даже говорящим скоро или отрывисто, в самых даже спорах. Тронутый иногда обращением холодным двора, он никогда не жалуется, старается оправдывать сие тем, что он домашний при дворе, или даже сам говоря, что такой-то поступок должен был его рассердить, но что он сердиться не умеет и чувствует только печаль. Ему теперь за сорок лет и уже давно собирается жениться. Он находил на своем веку много женщин, которые ему нравились, но они никогда для него не были более, как «милые творения» (его любимое слово). Он никогда не ощущал пылкой страсти, которая была бы довольно сильна, чтоб заставить его решиться на такое важное дело, и до сего времени боялся даже, что состояние его не довольно обеспечено, чтобы завести семейство.

Душа Жуковского, хотя никогда не ощущает страсти, способна чувствовать, т. е. понимать, самые воспламененные чувства. При рассказе прекрасного, высокого, возвышенного лица его оживится и слово плавно вылетает из души его. Он большой охотник до музыки. Целые часы готов слушать Бетговена, Моцарта. Он гармоническими звуками погружается в сладкую мечтательность, лицо его одето вниманием, и душа его плавает в гармонии. Верный друг всем приятелям, коих у него очень много, он, только ходатайствуя о них, может выйти из своего хладнокровия и разгорячиться. Для себя он беспечен. Для него не замечательно, что он живет высоко и что высокая лестница вредна его здоровью. Зато его кабинет обширный и наполненный приятными воспоминаниям предметами, таблицами разных родов и шкапами, портфелями, им выдуманскими и которые составляют у него всегда большой расход.

Совсем другого характера наш Пушкин. Нрава пылкого и ума столь же быстрого, пылкого, он обнимает предметы с боль-

---

\* Смехом простака (франц.). Прим. ред.

шею живостью, жадностью и выражает свои понятия с большею резкостью, оригинальностью, душа его пылче, всеобъемлюще, но не столь глубока и не сохраняет так долго впечатления. Я не буду говорить о пиитическом и авторском достоинстве обоих, не считая себя способным сочинить сей разбор, легкий только немногим, но буду их описывать единственно в светском их быту. Жуковского уже описал, приступлю и к Пушкину, с которым с юности и с первого знакомства очень сблизился.

Пушкин предоброй и благородной души. Стихи, писанные в юности, «Кинжал», «Послание к Чадаеву», эпиграммы не были ему внушены ни убеждением, ни даже гонением, ибо гонение было после написания стихов. Он просто был молод, находился в обществе людей, имеющих таковые мысли. Он сии мысли изобразил в стихах, сие общество оным рукоплескало, и Пушкин продолжает писать в стихах желания, надежды горячего республиканца. Государь ему сказал, что он один хочет быть его цензором. С тех пор Пушкин ему должен посылать свои сочинения до печатания и после, по утверждении их, прямо печатать. Иногда случаются маленькие ссоры между августейшим цензором и поэтом, как-то за стихи непечатные, но известные всему Петербургу, эпиграммы на происхождение некоторых наших аристократов, но Пушкин раскаивается, и царь забывает вину. Сердится также иногда и Пушкин за непропуск некоторых слов, стихов, но по воле вышней пересочиняет слова и стихи, безо всякой, впрочем, потери для себя и публики. Не знаю почему, только, верно, из каприза лишает он в сию минуту нас поэмы «Медный всадник» (монумент Петра Великого). Я видел сию рукопись. Пушкин заставляет говорить одного сумасшедшего, грозя монументу: «Я уж тебя, истукан». Государь не пропускает сие место, и вследствие очень справедливого рассуждения: книга печатается для всех, и многие найдут неприличным, что Пушкин заставляет проходящего грозить изображению Петра Великого, и за что? За основание города на месте, подверженном наводнению. Государь, зная, что Пушкин очень знаком с женою (бывшею тогда еще моею невестою в 1831 году), часто

говорит с нею об нем и передает ему свои мнения через нее. Он прислал ей сей манускрипт со своими замечаниями.

Пушкин в обществе коротких знакомых очень любезен. Он не имеет только глубоких познаний, как Жуковский, и, кроме литературы и истории, в других науках очень слаб, многими даже не занимался, но он много читал мемуаров, исторических сочинений и имеет счастливую память, посему его разговор очень занимателен, и в российской истории с Петра Великого он имеет очень обширные познания и знает большое множество анекдотов. Он рассказывает прекрасно и с особенным умом умеет найти во всяком предмете, во всяком анекдоте занимательную сторону, которая для многих глаз осталась бы неприметною. «Это очень занимательно», «с'est très remarquable»\*, — его любимые слова, и, выговаривая оные, он надувает свои толстые губы, возьмет важную осанку и обе руки сунет в карманы панталон. При начале разговора он долго ищет слова и как будто в рассеянии, но когда разгорячится, говорит скоро, употребляя всегда истинные выражения. Окончив рассказ, вскочит со стула, руки в панталонах и начнет ходить, выкидывая как-то странно ноги вперед и переваливаясь направо и налево. Он очень любит спорить, горячится, и переспорить или переговорить в споре его трудно даже в сущих безделицах. Про поэзию, стихи он редко говорит. Его любимый разговор — времена Петра, Елизаветы, Екатерины, и он в свой век собрал много документов и рассказов, касающихся до сих времен. Так как привыкли его слушать со вниманием, ему легко поставить разговор на любимые предметы. Вообще он любезен только с короткими, с приятелями. В нраве довольно ровен. Когда не в духе, надувает губы, ходит, качаясь, и говорит: «Грустно! Тоска!» Это пиитическое брожение или тронутаго самолюбия досада. В таком духе он долго был, когда его сделали камер-юнкером. Он уверял, что странно ему будет надеть придворный мундир, ему, прежнему критику двора.

---

\* Это замечательно (франц.) Прим ред.

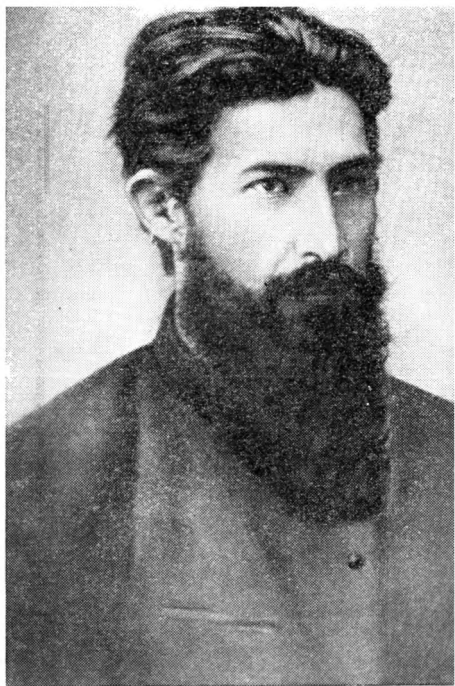
Пушкин очень хорошо живет с женою, обожает ее и в этом обманул ожидания публики. Жена ему платит тем же чувством, любит его до ревности, хотя и не дает он ей причины ревновать. Пушкин в юности прикидывался оригиналом, и ему удалось в маленьких вещах соделаться оным, длинные в полвершок ногти, черный застегнутый доверху в виде фуфайки жилет, оригинальные черты его костюма. Пишет он стихи в постели. Поедет на осень в деревню на несколько дней, лежит до двух в кровати и пишет стихи. Потом вскочит на лошадь, проскачет несколько верст, окунется, приехавши, в ванну, пообедает, и опять в постель и за стихи. Окончив, что он хочет, возвращается в город и начинает рассеянную жизнь, много и страстно играет в карты, в азартные игры, ездит в общество, сердится на свою судьбу, кричит: «Грустно! Тоска!» и только некоторые утра жертвует поэзии и занятиям. Вообще пишет урывками, но зато со страстью, на сей счет совершенный он художник. Впрочем, так жил он до свадьбы, до 1831 года. Теперь стал несравненно спокойнее. Все утра сидит дома, занимается в кабинете, допуская в оный одну жену, с каковою и в деревню не ездит более писать стихи. Он хотел в прошедшем году написать роман о Пугачеве, поехал в Оренбург собирать на месте сведения о сем любопытном феномене природы и написал историю, увлеченный важностью предмета. Теперь пишет историю Петра Великого и много занимается чтением касающихся до этого времени бумаг и истории. Многие его приятели считают его неспособным к труду, требующему долгого терпения, но Пушкин в один прием сделает более, чем другой в несколько... Нет нужды нам до времени, желательно только, чтоб он окончил свое предприятие. До сего же времени еще не написано ни одной строки.

Как люблю я Пушкина в веселом духе! Как много он тогда рассказывает, как живо говорит, так весело смеется, хохочет, выказывая наружу все свои белые зубы. Его смех невольно заставит смеяться. Его доброе сердце не может ни на кого долго сердиться. Он дуется только на двор.

Д. П. СИЛЬЧЕВСКИЙ

## ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ КИБАЛЬЧИЧА

Воспоминания о выдающемся революционере и ученом, авторе первого в мире проекта реактивного двигателя Николае Ивановиче Кибальчиче написаны в 1919 году литератором и участником революционного движения семидесятых годов прошлого столетия Д. П. Сильчевским. Подлинная рукопись публикуемых в сокращенном виде воспоминаний хранится в Центральном государственном историческом архиве СССР.



С Кибальчичем я был дружен почти с самого детства нашего. Я сошелся с Николаем с семилетнего возраста на почве общего обучения нас. Отец его взялся обучить меня читать, писать и затем, к 10 годам, подготовить к поступлению в гимназию. Учение давалось мне трудновато, но Николай уже с детства отличался замечательно выдающимися способностями, в особенности к арифметике (а впоследствии, в гимназии, в общем к математике и физике), а также к языкам — мать его прекрасно знала немецкий и французский языки, которым и обучала сына и меня.

Свободное от учения время я и Николай проводили в нашем обширном саду, причем у нас было излюбленное место — ветхая,



почти полуразрушенная беседка с врытым в землю столом и двумя скамьями. Здесь-то, с восьми лет, весной, летом даже осенью проводили мы с ним целые часы за чтением. Необычайная, непреодолимая страсть к чтению и послужила нашему сближению и дружбе. До сих пор помню, с каким восторгом читали мы «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Тараса Бульбу» Гоголя. Читал обыкновенно я, а Николай был неизменно внимательным слушателем. Затем перешли к Пушкину, причем Николаю больше всего понравилась «Капитанская дочка» и «Повесть Белкина». Стихов же он не любил.

В десятилетнем возрасте оба мы были отвезены в город Новгород-северск и поступили в 1-й класс тамошней гимназии. Мы и там не разлучались, так как Кибальчичу нанято было помещение вблизи нашей квартиры и нам приходилось часто вместе готовить уроки. Наши совместные чтения продолжались еще несколько лет, причем я еще более сдружился с Кибальчичем. Помню, что из всего прочитанного нами за гимназический период времени самое сильное впечатление произвели романы Вальтера Скотта. Не спуская с меня глаз, с захватывающим интересом и волнением следил он за похождениями и приключениями Айвенго, Квентина Дорварда или Роба Роя. Могучий гений «шотландского чародея», как охарактеризовал Вальтера Скотта Гоголь, всегда производил на Кибальчича неотразимое впечатление, и он с восторгом говорил мне не раз, что этот писатель выше всех других писателей, сколько их ни было на свете. Конечно, это было сильное преувеличение.

После Вальтера Скотта Кибальчич из всего нами прочитанного в гимназии ставил выше всего Сервантесова «Дон Кихота» и романы Диккенса «Пиквикский клуб» и «Давид Копперфилд», но к остальным его романам он остался совершенно равнодушен, несмотря на все мои попытки спорить с ним и убедить Николая в глубоких достоинствах таких шедевров, как «Домби и сын» и «Холодный дом». Читали мы книги, обычно приготовив уроки на следующий день, и весьма часто случалось, что чтения эти длились далеко за полночь.

В новгородсеверской гимназии Кибальчич всегда шел одним из первых, а в 6-м и 7-м — последнем — классе был неизменно первым учеником и в особенности изумлял всех своих товарищей, даже учителей, математическими способностями. Мало того, он еще раздобыл где-то самоучитель английского языка Оллендорфа и как-то необыкновенно скоро усвоил английский язык и впоследствии читал английские книги. По-немецки и по-французски он читал свободно. Затем уже в последний год своего пребывания в гимназии, т. е. в 7-м классе, Кибальчич заинтересовался химией, добывал и выписывал популярные книжки по химии.

В 6-м классе гимназии по мысли и инициативе Кибальчича у нас скрытно от начальства создавалась библиотека, причем все вносили вклады — кто деньгами, а кто книгами. Выписывали мы журналы «Дело», «Отечественные записки», выписали сочинения Добролюбова и Писарева, а из добытого из одной части библиотеки «Современника» за 1855—1863 годы вырезали все статьи Чернышевского и переплели в отдельные тома. Я был избран в библиотекаря и заведовал выдачей книг.

Но библиотекарем я состоял только с небольшим год, когда мы были в 6-м классе, а в 7-м классе я вынужден был оставить обязанность библиотекаря, так как возбудил подозрение гимназических надзирателей и мы все боялись, что гимназическое начальство захватит библиотеку, в которой были и нелегальные издания: «Колокол», «Полярная звезда» и брошюры Герцена. Библиотекарем был избран Кибальчич, и библиотека наша была в одну темную ночь перевезена к нему, где она оказалась в совершенной безопасности, так как Кибальчич тогда жил в качестве репетитора и гувернера у детей местного богача-помещика, к которому гимназические надзиратели не имели доступа.

В 7-м, последнем, классе гимназии Кибальчич задумал издать рукописный журнал «Винт». Меня он привлек в свои помощники и сотрудники. Третьим сотрудником стал наш приятель С. П. Томашевский, впоследствии ставший одним из популярных и та-

лантливых профессоров медицинского факультета Киевского университета.

Журнал «Винт» выходил тетрадками в 2—3 недели раз, и его вышло 4 или 5 номеров. В «Винте» существовал отдел сатирический, с карикатурами, в которых осмеивались наиболее нелюбимые — шпион, иезуит надзиратель Киселевич и также чрезвычайно хитрый и лицемерный, еще больший иезуит, законоучитель, магистр Киевской духовной академии о. Петр Хандожинский. Темы для карикатур придумывал Кибальчич, поместивший в «Винте» несколько статей, а именно: о бунтах Стеньки Разина и Пугачева и о Великой французской революции.

В 7-м классе с Кибальчицем случилось два происшествия, имевшие характер крупных скандалов. Был тогда у нас учитель русской и всеобщей истории, некий Безменов, человек тупой, глупый, а также очень корыстолюбивый, не чуждавшийся даже взяток и вымогательств. Был в это же время в 7-м классе ученик Слищенко, сын одного из богатейших купцов Новгородсверска. Безменов запросил у него довольно крупную сумму, якобы займы. Купец Слищенко наотрез отказал Безменову, несмотря на то, что последний обещал протекцию его сыну в получении выпускного аттестата. Разозлившийся Безменов погрозил Слищенко отомстить за отказ в деньгах. И вот он, ни разу не спросив ученика Слищенко, стал ставить ему низшие баллы — единицы. На уроке Безменова Кибальчич встал со своего места (он сидел как раз против учительской кафедры, на первой скамье рядом со мной) и неожиданно обратился к изумленному Безменову с такими словами:

— Господин Безменов! Вы ни разу не спрашивали Слищенко, а ставите ему единицы и, кроме того, как мы слышали, стараетесь не допустить его к выпускному экзамену. А за что? Только за то, что отец его не дал вам займы денег. Это неблагородно, это просто подло и недостойно вас как человека и учителя. Вы, как наш наставник, должны бы для всех нас быть образцом чести и благородства, а вы, наоборот, поступаете

низко. А потому вы заслуживаете от нас всех не уважение, а презрение.

Тут и меня дернула нелегкая. Я встал и, обращаясь к Безменову, сказал:

— Я вполне согласен с Кибальчиком и вполне поддерживаю его слова и его мнение о вас.

Безменов сначала остолбенел, не мог произнести ни слова, затем поспешно выскочил из класса и побежал к директору с жалобой на то, что Кибальчик нанес ему неслыханное оскорбление, произвел чуть ли не бунт в 7-м классе. Собрано было экстренное заседание педагогического совета, на котором Безменов и о. Петр Хандожинский (с которым Кибальчик спорил о том, что мир существует не 6 тысяч лет, а, как утверждают читанные им статьи по геологии, целые миллионы лет) настаивали на исключении Кибальчика из гимназии да еще чуть ли не с «волчьим паспортом». Но директор гимназии, добрейший и благороднейший Павел Федорович Фрезе, и другие учителя отстаивали своего любимца, «первого ученика», и дело ограничилось семидневным карцером, куда были посажены на хлеб и на воду Кибальчик и я.

Карцер представил собой чистую и светлую комнату, где мы и отсидели положенное время. Украдкой нам изобильно доставляли мои домашние всякую снедь да и книги для чтения.

Другой инцидент, случившийся тогда же с Кибальчиком, был совсем в ином роде. Шли мы как-то после уроков по Губернской улице и вдруг увидели, как полицейский квартальный зверски избивает какого-то заморенного безответного мужика неведомо за что и про что. Кибальчик сразу весь вспыхнул, бросился, вырвал его из полицейских лап и закатил квартальному звонкую оплеуху. По выражению Помяловского, «устроился скандал довольно почтительного свойства». Собралась толпа, на квартального посыпались насмешки и ругательства:

— Что, видно, не нас одних бить!.. Досталось и самому!

Взбешенный квартальный повел Кибальчича к директору гимназии, толпа за ними последовала, и эта своеобразная процессия вскоре достигла казенной директорской квартиры П. Ф. Фрезе, находившейся в здании гимназии. Повторилась прежняя история. Созвано было экстренное заседание педагогического совета, на котором протоиерей Хандожинский и Безменов опять-таки настаивали на исключении Кибальчича из гимназии, и опять-таки директору и другим учителям удалось его отстоять, и дело кончилось карцером.

Из приведенных мною двух инцидентов читатели видят, что еще в гимназии был развит оппозиционный дух Кибальчича. Но — странное дело! — я не знал ни одного другого такого флегматичного, смиренного, кроткого и добрейшего душой человека, как тот же самый Кибальчич. Он буквально никогда ни с кем не ссорился, спорил всегда как-то флегматично, ровно и спокойно, да и врагов у него никогда не было между всеми знавшими его товарищами и знакомыми. А что касается его доброты, то опять повторяю, другого такого человека я не знал. Он буквально все отдавал нуждающимся товарищам, — свой последний рубль, а сам сидел после того без хлеба, без чая, без сахара, пока я, или С. П. Томашевский, или другой кто-нибудь из товарищей не выручал его из беды.

Окончил гимназию Кибальчич с серебряной медалью. Хотя он и был первым и лучшим учеником в 7-м классе, но золотой медали ему все же не дали именно вследствие двух рассказанных мною инцидентов, или, проще говоря, скандалов с Безменовым и квартальным.

Окончив гимназический курс в 1871 году и прощаясь со мной, Кибальчич объявил, что едет в Петербург с целью поступить в Институт инженеров путей сообщения. Помню его речи и мечтания о будущей деятельности.

— Для России, — говорил он, — железная дорога — это все. Это теперь самый насущный, самый жизненный вопрос. Покроется Россия частой и непрерывной сетью железных дорог — и мы процветем. Природные богатства, которыми так изобилует

Россия как в недрах, так и на поверхности, будут умело и доходно эксплуатировать, возникнут бесчисленные заводы и фабрики, торговые, промышленные и другие предприятия. Да, торговля, промышленность, техника и все связанные с ними дела и предприятия обнаружат изумительный, доселе еще небывалый у нас прогресс, а с ним вместе будет расти и развитие самого народа, его просвещение и благосостояние. Цивилизация в России пойдет быстро вперед, и мы, наверное, хоть и не сразу, догоним передовые страны Западной Европы. Вот почему, повторяю, постройка железных дорог — у нас теперь самое первое и главное, самое жизненное, самое насущное дело, и вот почему я поступаю в Институт инженеров путей сообщения — чтобы быть потом строителем железных дорог, чтобы иметь потом право сказать, когда процветет наша страна: «И моего тут капля меда есть».

Не прошло и года, как он глубоко разочаровался в возможности плодотворной, а главное, честной деятельности в деле строительства железных дорог. Через несколько месяцев (в начале 1872 года) Кибальчич с горечью говорил мне:

— Нет! У нас в институте теперь только одни карьеристы, будущие хищники, будущие воры, грабители народа и расхитители народного достояния. И удивительное дело, — продолжал Кибальчич, — откуда взялась эта мечтающая о будущих доходах и богатствах молодежь? У мальчишки еще материнское молоко, как говорится, не обсохло на губах, а он рисует себе, как будет наживать доходы на постройках железных дорог, устроит себе роскошную квартиру с коврами и великолепной мебелью и — тьфу! — заведет себе любовницу из балета, так что ему будут завидовать другие товарищи, менее его преуспевшие в карьере и добывании денег всякими правдами и неправдами. Нет, инженером мне не быть, и я решил перейти в Медико-хирургическую академию.

— А там что же? — спросил я.

— А оттуда я выйду врачом и постараюсь избрать жительство в деревне. Тогда я буду приносить действительную пользу

народу, а не рвать куски от жирного всероссийского пирога. Не только лечить народ, но нести в среду его свет, здоровые понятия о жизни, просвещать его, хотя бы, например, о лучших гигиенических сторонах быта и обихода, помогать народу, лечащемуся у знахарок и знахарей, разрушать его суеверия и невежество. Словом, работы предстоит много, и работы честной и хорошей. Наш русский народ — народ умный, и он поймет и меня и мои идеалы.

Он как сказал, так и сделал — перешел в Медико-хирургическую академию, где и пробыл года три. В эти годы он навещал меня частенько.

Кибальчич интересовался моей литературной деятельностью, моими знакомствами с кружком сотрудников некрасовских «Отечественных записок», хотя к литературе относился довольно скептически. Из русских беллетристов он ценил только Гоголя и Тургенева да еще из новейших — Глеба Успенского; ко всем же остальным относился отрицательно — не придавал никакого значения ни Гончарову, ни Писемскому, ни Григоровичу, ни даже Достоевскому.

— Это больной человек, — говорил он про Достоевского, — и рисует не действительную жизнь, а фантазии своего больного воображения. Ну, скажи, пожалуйста, где ты видел хотя бы одного из тех лиц, которых он описал в «Бесах», или хотя бы Раскольникова? Их нет, этих созданных его фантазией лиц, а если бы и были, то сидели бы в сумасшедших домах.

На лето 1874 года Кибальчич уехал провести каникулярное время в Киевскую губернию к своему дяде, тоже священнику, как и его отец. Из этой поездки как финал стряслась потом для него неожиданная беда. Из нескольких революционных брошюр, которыми он запасся на дорогу, была у него и «Хитрая механика», в которой талантливо и общепонятно для грамотных людей излагалось грабительское, чисто эксплуататорское обирание народа Александром II и его приспешниками — дворянством и купечеством.

Надо сказать, что к этому времени Кибальчич постепенно, мало-помалу склонился к усвоению себе революционных идей. Первый толчок и большое влияние оказала в этом отношении книжка П. Л. Лаврова «Исторические письма» (СПБ, 1870, первоначально печатались в «Неделе» 1868—1869 гг.). Эта книжка убедительно и сильно показывала долг интеллигенции народу, на счет которого, на его труд, пот и кровь и интеллигенция и предшествующие ей поколения выросли, образовались и продолжают жить. Затем окончательно повлиял на Кибальчича I-й том социально-революционного (не периодического, как издавалось в 1875—1876 гг.) издания того же П. Л. Лаврова «Вперед». Этот-то I-й том, вышедший в Цюрихе к осени 1873 года, вполне уяснил Кибальчичу необходимость уничтожения на Руси самодержавия со всем его деспотизмом, полицейским произволом, удушением свободы и всякой свободной мысли и другими безобразиями. А Кибальчич был такой человек, для которого раз убедиться в чем-нибудь значило и поступать строго согласно со своими убеждениями. Таким образом, благодаря Лаврову Кибальчич, глубоко и серьезно продумавши и усвоивши дело этого революционного писателя, и сам пришел постепенно к революционным убеждениям.

В киевской деревне он дал прочесть «Хитрую механику» одному грамотному и умному крестьянину. Эту брошюру, лежавшую на столе у крестьянина, случайно увидел местный священник — дядя Кибальчича, зашедший к мужику по какому-то делу. Батюшка взял брошюру, стал ее перелистывать и заинтересовался:

— Ага! Вот это что! Прекрасно, надо принять меры.

И действительно принял меры, донес на своего родного племянника предающим властям. Последствием дядюшкина доноса был, конечно, обыск у Кибальчича уже в Петербурге. А тут же, как на грех, к увеличению его вины, произошло еще следующее обстоятельство. Как раз накануне обыска к Кибальчичу явилась одна барышня. Она принесла ему прочно запакованный тюк и просила



побережь его у себя, не объявив даже, что заключается в этом тюке.

Тюк, принесенный на хранение, заключал в себе разные революционные издания, причем эти брошюры были не в одном, а в нескольких даже экземплярах. Это и дало повод жандармерии и прокуратуре, ничтоже сумняшеся, ни много, ни мало, обвинить Кибальчича в том, что он будто бы имел у себя склад революционных изданий для их распространения.

Кибальчич просидел в крепости без малого год, пока дело дошло до его процесса в Сенате. Сенат ограничился тем, что вменил ему в наказание долговременное заключение в крепости, и он вышел на свободу. Это было в 1875 году.

С этого времени Кибальчич уже шел до конца твердыми и непоколебляющимися стопами по революционному пути. Он убедился, что никакая деятельность на пользу и благо народа, кроме одной — революционной, у нас в России невозможна. Не раз он доказывал это мне при наших последующих свиданиях и убедил в этом и меня.

Но свидания наши скоро прекратились, так как я был арестован и заключен в крепость и после долгого (мне казалось, что и конца не будет) сидения в ней, вскоре после освобождения, по хлопотам Некрасова и Салтыкова-Щедрина, был отправлен на далекий север, в печально-бесконечные снежные тундры, в многолетнюю административную ссылку, так что прошло несколько лет, и я не виделся с Кибальчичем и даже ничего о нем не слышал.

Но мне суждено было увидеться с ним еще два раза, и это произошло вот каким образом. В начале августа 1878 года мне было разрешено шефом жандармов Н. В. Мезенцевым (за два дня до его убийства Кравчинским-Степняком) из ссылки отправиться в Черниговскую губернию во временный отпуск на свидание с опасно больной матерью.

Губернатор не дал мне в конвоиры ни жандарма, ни даже простого городского, а лишь снабдил так называемым «проход-

ным свидетельством», где обозначен был мой маршрут с воспрещением ехать через Петербург и с обозначением, что свидетельство это имеет силу только два месяца. Но я проехал через Петербург, где и прожил с неделю нелегально, ночуя то у одного знакомого, то у другого, запасался новыми революционными изданиями и был приглашен сотрудничать в «Земле и Воле», первый номер которой тогда как раз готовился к печати. Я доставил просимое (которое и было напечатано), причем «землевольты» снабдили меня и адресом Кибальчича, в то время уже перешедшего на жизнь нелегального революционера и жившего под другой фамилией и по поддельному паспорту (на Лиговке в то время).

Не надо и говорить, как обрадовался мне Кибальчич.

— Да вот беда-то в чем! Я угостить тебя ничем не могу — нет ни чаю, ни сахару, да и не ел я ничего сегодня, — сказал мне Кибальчич с той своей обычной грустно-задумчивой улыбкой, которая так памятна мне и доньне.

— А ты, Николай, тот же. Наверно, отдал сегодня последний грош кому-нибудь.

Кибальчич сконфузился.

— Да, видишь ли, нельзя было не помочь. Человек был без копейки и голоден.

— А ты не голоден разве теперь? — спросил я.

— Да, пожалуй, есть-таки.

— Ну, так нечего тут рассуждать и время терять. Идем скорей обедать в ближайшую кухмистерскую.

Пообедав, засели мы за бесконечным чаем и еще более бесконечными разговорами о том, что было с ним и со мною с того времени, как мы не виделись. Беседа длилась долго-долго, чуть ли не до трех часов ночи. Между прочим, Кибальчич усиленно и настоятельно убеждал меня наплевать на ссылку и перейти, как и он сам, на положение нелегального революционера. Я отказался, мотивируя свой отказ тем, что я не выдержал бы долго нелегальной жизни, непременно бы скоро попался под арест, да и весь мой характер не таков: я привык

к сидячей, так сказать, кабинетной жизни, корпеть вечно, как библиограф, над книгами, газетами, рукописями.

— Не выдержу я скитальческой, кочевой жизни,— кончил я.— Вот сегодня я ночую у тебя, вчера ночевал у Короленко (я только что познакомился с В. Г. Короленко, еще не начинавшим тогда своей славной литературной деятельности, и сблизился с ним и со всем милым его семейством), а послезавтра я уже и не знаю, где буду ночевать. Вот прелести нелегальной жизни!

Прошло после этого около двух с половиною лет, и в конце февраля 1881 года я снова, и уже в последний раз, увиделся с Кибальчичем, случайно столкнувшись с ним на улице, в том же самом Питере и даже, помнится, чуть ли не на той же Лиговке. В Петербурге я опять был нелегально, переменяя место ссылки. Было это сырым февральским утром со слякотью и какой-то кислой погодой. Я торопился к Салтыкову-Щедрину и кого-то нечаянно толкнул, а затем извинился.

— Дмитрий?! Да ты ли это?

Я обернулся, всмотрелся хорошенько и узнал Кибальчича и его всегдашнюю вечно памятную для меня грустно-задумчивую улыбку. Мы обнялись и облобызались. Пошли обоюдные расспросы (я даже забыл, что спешил к Щедрину, и решил пойти к нему на следующий день), что, как, куда, каким образом, почему и т. д. Причем мы не давали говорить друг другу, перебивали друг друга, но наконец успокоились и вошли в колею.

Кибальчич нисколько не переменялся и был все тот же и все такой же, хотя в это время он, как оказалось впоследствии известным из процесса, уже изобрел свои знаменитые бомбы с усовершенствованиями и приспособлениями, не известными до него ни в науке, ни в специальной артиллерийской технике, ни в химии взрывчатых веществ.

Первым, столь для него обычным, вопросом Кибальчича был: не нуждаюсь ли я в деньгах?

— Нет, не нуждаюсь, только что получил пособие из Литературного фонда,— ответил я.

— Ну и отлично. Я тоже теперь при деньгах и могу отплатить тебе за твой обед тогда в кухмистерской. Пойдем в ресторан: теперь адмиральский час.

— Уж и в ресторан! Пойдем опять в кухмистерскую. Куда нашему брату с суконным рылом да в калашный ряд!

— Нет, нет, в ресторан! — настаивал Кибальчич. — Я хочу уплатить тебе свой долг — обед в кухмистерской — если не стоицей, то с процентами. Да оно и кстати. В том ресторане у меня назначено свидание с одним человеком.

Обедали мы в ресторане на Невском, причем фрачные лакеи с каким-то недоумением оглядывали наши плохие, достаточно потрепанные и обшарпанные костюмы.

После обеда, когда мы сидели за кофе, к Кибальчичу быстро подошел какой-то молодой человек с окладистой бородой, довольно изящно одетый, и сказал ему:

— Слушай, Цилиндр (так часто называли Кибальчича товарищи-революционеры), ты обязан быть там в 8 часов вечера. По своей всегдашней рассеянности не забудь этого. — Он сделал сильное ударение на слове там.

— Не бойся, непременно буду.

Молодой человек с пышной бородой посмотрел на меня, как будто бы желал пронизать насквозь своим взглядом, и затем быстро исчез.

— Кто это такой?

— Один хороший человек. Некто Желябов, — ответил Кибальчич.

Фамилия была незнакомая, и я забыл ее, но скоро мне пришлось ее припомнить по процессу 1 марта. Надо заметить, что это наше последнее свидание с Кибальчицем происходило ровно за 4 дня до 1 марта 1881 года, т. е. до убийства Александра II.

— Ты когда отсюда едешь? — спросил меня Кибальчич.

— Завтра вечером.

— Это решено окончательно?

— Да, — ответил я.

— Непременно уезжай завтра же,— настаивал Кибальчич.— Тебе, как нелегальному, здесь проживать опасно, ибо готовятся грозные события.

Я расстался с Кибальчицем, нисколько не подозревая, что уже более никогда мне не суждено будет увидеть его.

Прошел месяц и несколько дней. Кибальчича не стало. Очевидцы казни его передавали мне, что он спокойно и просто, ровным шагом, с обычной своей грустной улыбкой взшел на эшафот и пожал руку Перовской и Желябову, а с двумя остальными товарищами проститься не успел...

Я не буду говорить, как тяжело сделалось у меня на душе, когда, уже в Москве, я прочитал, что 3 апреля 1881 года при-ял на виселице мученический венец Николай Иванович Ки-бальчич, это золотое сердце, это чудная душа и этот светлый ум гения-изобретателя. Он — дорогое воспоминание в моей жизни, и дорога всегда будет память о нем.

Ты будешь памятен всегда,  
И будет подвиг твой свободный  
Святыней в памяти народной  
На все грядущие года...

М. Г. САВИНА

## ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Бриллиантовым дарованием и чародейкой русской сцены называли современники Марию Гавриловну Савину. Воспоминания великой драматической актрисы публикуются по рукописи Центрального государственного исторического архива СССР.



Первый «настоящий» литератор, с которым я познакомилась в Петербурге, был Яков Петрович Полонский. Случилось это на одном из благотворительных вечеров в первый сезон моего поступления на сцену (1875). Жила я тогда на углу Николаевской и Звенигородской. Полонские были моими соседями. Я была приглашена на литературные пятницы и очень радовалась, так как знала, что увижу там много интересного. Меня поработил своим великолепием Григорович. Красавец, изящный, а уж говорил! Он, в свою очередь, заинтересовался мною (хотя не видел на сцене), прочел мне целую лекцию об искусстве и совершенно загипнотизировал меня. С большим нетерпением ждала я пятницы, чтобы опять увидеть, а главное — услышать

его. Потом, когда я постепенно вышла из роли провинциалки, в Григоровиче мне показалось странным пристрастие к французским псевдоклассическим пьесам и полное незнание с нашим репертуаром. Поразил он меня также своим мнением о русских авторах. «Синоним русской пьесы: лапти и покойники», — это говорил автор «Рыбаков» и «Антон-горемыки». Тем не менее, он был обаятелен в обществе, говорил красиво, знал это и любил, что его слушали.

Яков Петрович был все, что угодно, но не поэт. По крайней мере для меня. В моем воображении поэт представлялся совсем другим. Разве феноменальной рассеянностью своею он напоминал поэта, но ничем больше.

В заседаниях Литературно-театрального комитета он добродушно засыпал под чтение автора (по тогдашним правилам автор читал пьесу сам, а если он был иногородний, то кто-нибудь из артистов), что, конечно, приводило в отчаяние последнего. Иногда при громкой фразе или вдруг наступившем молчании Яков Петрович открывал глаза и спрашивал: «Это кто говорит?» Автор называл имя героя. «А это он кому говорит?», и т. д. Волосы его всегда были растрепаны, точно он только что стоял на ветру. Поэтому он должно быть и удивлялся, что И. С. Тургенев любил очень подолгу расчесываться каждое утро. Вообще он мне казался каким-то не от мира сего, но пятницы я посещала охотно, когда была свободна.

С Некрасовым познакомилась незадолго до его смертельной болезни, он пугал меня своим видом. Но когда я действительно перепугалась при встрече, это — А. Ф. Писемского. Мой дядя, живший постоянно в Петербурге, сказал мне как-то, что Писемский, старый его знакомый, узнав о нашем родстве, желает прочесть мне свою новую пьесу (он и приехал в Петербург тогда, чтобы ее поставить), и я, конечно, поспешила к назначенному времени. Часы ли у меня были неверны, или ехала я очень долго (дядя жил на Б. Морской), но я опоздала и была очень сконфужена, когда Писемский сразу мне это заметил. Голос у него

был очень грубый, глаза навывкате, редкие волосы торчали во все стороны, и при этом костромская речь, неслыханная мною до этих пор, совсем ошеломила меня.

— Кто ж так опаздывает? Вот она какая у вас! Молода больно, стрекозиста.

Уселась я слушать ни жива, ни мертва и долго не могла поднять глаз на этого страшного старика. Пьеса называлась «Просвещенное время» и мне не понравилась, а роль героини по случаю моей «стрекозистости» совсем не подходила ко мне, но, чтобы не обидеть автора, я предложила сыграть роль горничной. Писемский сначала спорил, потом рассердился и сказал, что поставит пьесу в Москве, а не здесь. «С такими дурами», — так и хотелось подсказать мне ему. Тогда существовала система бенефисов, и в каждом из них я должна была участвовать. Писемский, очевидно, знал это и привез свою пьесу в надежде немедленно пристроить, но я невольно ударила его по карману, что и вызвало его негодование.

С очаровательным А. Н. Майковым познакомилась у Полонских и раз участвовала с ним в благотворительном вечере, причем читала его «Сон в летнюю ночь». Милый, скромный, симпатичный.

С А. Н. Островским я встретила в 1876 году, сыграв до этого в пьесах «Волки и овцы» и «Богатые невесты». Последняя не имела успеха. Бурдин объявил нам, что Александр Николаевич дал ему свою новую пьесу «Правда хорошо, а счастье лучше» для бенефиса и сам придет читать. Чтение состоялось ко всеобщему удовольствию, так как Островский читал превосходно, но чтение для меня с Варламовым окончилось большой неприятностью. Мы оба решили, что не сумеем сыграть поднесенные нам роли (так поразил нас чтением автор), и пошли к грозному и всемогущему Павлу Степановичу Федорову — тогдашнему начальнику репетуара, вершителю судеб театра, с просьбой освободить нас от участия в этой пьесе. Я служила тогда два года, а Варламов — один, и при нашей молодости такая скромность была только похвальна.



Но, боже мой, как поощрил эту скромность наш начальник! Не дав нам договорить, он закричал, затопал ногами, очки совсем сползли (он глядел всегда сверх них), и мы могли только разобрать: «Островский делает вам честь, а вы смеете капризничать!», «Девчонки, мальчишки разговаривают...», «Бенефис товарища, императорский театр...», — и все в этом роде. Мы часто вспоминаем и теперь с Варламовым, как мы опрометью выбежали из приемной и буквально слетели с четвертого этажа дома дирекции и пришли в себя только у входа в Александринский театр. Варламов плюнул, а я перекрестилась, что избавилась от этого ужаса. Мне почему-то вообразилось, что Поликину должна играть Лиза Левкеева, специалистка на роли купеческих дочек, и это толкнуло меня на отказ. Варламов плакал оттого, что бесподобный тон Островского не выйдет из памяти и ничего подобного он не сумеет передать. Как мы играли и играем до сих пор эти роли, говорить нечего, а у Варламова это одно из его созданий. Теперь молодые отказываются потому, что «роль не нравится», а не потому, что они не считают себя способными выполнить ее.

Островский не смотрел своих пьес, а ходил во время первого представления за кулисами, чутко прислушиваясь к речам на сцене, и иногда садился в режиссерскую ложу. Как-то в разговоре он сказал: «Я не хожу в театр на чужие пьесы, боюсь что-нибудь скверное перейму». Со мною он был чрезвычайно ласков и в письмах всегда отзывался с большой похвалой. Как хороша женщина во всех его пьесах! Как даже ее дурные поступки он объясняет средой, воспитанием, обстоятельствами.

В декабре 1881-го года он уведомил, что написал «Таланты и поклонники», и я заявила ее на бенефис, который состоялся 14-го января 1882-го года. Он читал нам ее в квартире своего брата Михаила Николаевича, бывшего тогда министром. Больше я никогда не слыхала его чтения, и лучшим чтцом после него был А. А. Потехин.

А. А. Потехин — первый драматург, пьесу которого я поставила в свой первый бенефис на сцене 8 октября 1874 года.

Роль Дашеньки в «Мишуре» мне очень нравилась, и я только что сыграла ее с большим успехом в Саратове. Автор был в театре и после 3-го акта вбежал ко мне в уборную, в восторге целуя мою руку, сказал: «Теперь я опять буду писать для сцены». Высокий, худой, с длинными белокурыми волосами и бордой, «старинный» литератор с гравюры сороковых годов, он мне очень понравился. Я познакомилась с его семьей и очень подружилась с его младшей дочерью Раечкой, его любимицей. Это была чудная, добрая девушка, но глубоко несчастная благодаря любви отца. Он уверил ее и сам был убежден, что она замечательный талант, и отравил ей жизнь. Ставил для нее спектакли в клубах, давая первые роли («Бедную невесту», например, и весь мой тогдашний репертуар, но по ее индивидуальности совсем ей не подходивший), и сзывал всех родных и знакомых восхищаться ее игрой. Он был слеп к ее недостаткам — она была некрасива, угловата, очень худа, не умела одеться на сцену и жестоко шепелявила, — и все, боясь огорчить его и ее, поддерживали этот обман из симпатии к этой милой семье. Главным партнером Раечки в этих спектаклях был А. И. Южин — князь Сумбатов — тогда еще студент.

Ивана Александровича Гончарова привез ко мне Монахов (ухаживавший тогда за мною), и я от восторга скакала по комнате, увидав автора «Обрыва». Я бредила «Верой, бабушкой, Марфинькой» и хотела играть всех трех. Иван Александрович изысканно учтиво поздоровался со мною и сказал, что «давно просил своего приятеля Ипполита Ивановича и очень рад случаю» и т. д. Конечно, я сделала все на свете, чтобы «очаровать» моего гостя, настроенного уже, по-видимому, приятелем в мою пользу. Разговор вертелся сначала на Чацком, только что сыгранном Монаховым, что тогдашней критике показалось большой дерзостью со стороны «куплетиста». Иван Александрович возмущался этим и горячо брал его под свою защиту. От всей не крупной фигуры Гончарова веяло порядочностью и приветливостью; это был «старинный» милый барин с тихой приятной речью. Иван Александрович был несколько раз в театре, видел

меня в разных ролях («Правда хорошо» в том числе), и на другой день после спектакля Монахов подробно описывал мне его впечатление, всегда лестное для меня.

Конечно, я была у него с визитом, на Моховой в доме Устинова, где он жил тридцать лет.

В глубине большой комнаты на диване полулежал Иван Александрович, и около него сидела маленькая белокурая девочка с книжкой. Эта картина меня поразила. Когда я вошла, он так был занят, что в первую минуту не заметил меня. Девочка убежала, и Иван Александрович объяснил мне, что это дочь его кухарки и он учит ее грамоте. Вспоминая об этом потом, он говорил: «Когда я смотрю в ясные глаза Сонечки, я вижу небо». Тихо-тихо было в его квартире, и я своей шумной особой внесла в нее большой беспорядок. Вытащить его из дому, а в театр тем более, было большим подвигом, но тем не менее Монахову это удавалось, и я была безмерно счастлива видеть Гончарова у себя. Между прочим, он учил меня читать стихи. Но так читать на сцене было бы немыслимо. Покачиваясь из стороны в сторону, чинно он отбивал рифмы и говорил, что это необходимо: «На то и стихи, чтобы их слышать». Он прочел «Сцену у фонтана», Марину, а Монахов подавал реплики Самозванца.

Несмотря на мое благоговение, я не могла удержаться от улыбки. Все, что я знала наизусть из стихотворений, я должна была читать по его просьбе, а некоторые, как сцену из «Евгения Онегина» или «Горе от ума», вместе с Монаховым. Монахов очень хорошо читал стихи, и я была между двумя огнями в этих случаях. Очевидно, такие вечера нравились Ивану Александровичу, потому что он никогда не отказывался от моих приглашений.

Последний раз я видела Гончарова у себя в сезоне 1888—1889 гг. Он уже очень плохо видел и хандрил. Я жила тогда на Царицыном лугу, и он пешком пришел («для прогулки») вечером. Вспоминали Монахова, и вообще тон этого свидания был очень грустный. Он старчески брюзжал на все и горько жаловался на угрожающую слепоту. Потом больного я не решалась беспокоить и только заезжала иногда узнать о здоровье

и оставить карточку. Участь «Сонечки с ясными глазами» очень интересовала меня, но я не могла добиться сведений о ее судьбе. Иван Александрович подарил мне «Обыкновенную историю».

Александра Николаевича Плещеева помню всегда грустным, где бы то ни было: в гостиной Полонских, на литературном вечере или в Литературно-театральном комитете. Он мне очень нравился своей внешностью и симпатичным обращением. Со мною был всегда очень любезен и перевел для меня с французского прелестную пьесу «Искорка», которую мы много играли. Товарищи-литераторы прозвали его почему-то «Потерянный рай».

Дмитрий Васильевич Аверкиев, образованный, умный, любивший сцену и знавший ее, серьезный критик и талантливый драматург, к сожалению, обладал очень неуживчивым характером и многих этим отталкивал от себя. Несмотря на то, что он принадлежал к враждебному мне лагерю, я очень ценила его мнение и до сих пор жалею, что благодаря недоразумениям и разным сплетням не могла пользоваться его полезными для молодой актрисы советами. Болезненно хриплый голос делал его речь еще более грубой, и на человека, мало знающего его, он производил неприятное впечатление. Один раз мне пришлось видеть его на сцене в благотворительном спектакле (который, кажется, он же и устраивал) в доме князя Волконского на Гагаринской набережной. Давали «Каменного гостя» Пушкина, и он играл Лепорелло. Я помню ясно сцену у статуи. Он так смешно выражал испуг, выказал такое незнание сцены, такое отсутствие дарования, что я смеялась от души и не скрыла от него этого. «Бранить актеров легче (а он жестоко бранил), чем самому играть, Дмитрий Васильевич»,— сказала я. Он, отирая пот, обильно струившийся по лицу, ответил, что робел до потери сознания.

В его пьесах «Сидоркино дело» и «Трогирский воевода» я играла с большим удовольствием, а первая пользовалась огромным успехом. Что касается знаменитой «Каширской старины», то в провинции я играла в ней вторую роль (Глаши). По-моему, эту пьесу должно давать всегда, как одно из украшений русской драмы.

Г. И. ЛИННИК

## ЗАБЫТЫМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Полюс — мечта отважных. В героическом и горестном пути к Северному полюсу Г. Я. Седова сопровождали матросы Г. И. Линник и А. И. Пустошный. В Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота СССР сохранился дневник Г. И. Линника, публикуемая часть которого озаглавлена «Путешествие к Северному полюсу, смерть Г. Я. Седова и возвращение к судну».

*1 февраля 1914 года.*

Все готово. На дворе настоящий ураган, не видно ни зги.

*2 февраля.*

Мороз до 28°. Встали в три часа утра, запрягли собак, подняли флаги. Были прочитаны приказы Г. Я. Седова о производстве остающимися работ и об управлении судном на стоянке и в плавании в случае, если мы к августу м-цу не возвратимся... После обеда в 12 часов дня двинулись в путь. Провожали нас около шести верст и расстались с миром. Прошли около 10 верст и стали лагерем.

*3 февраля.*

Мороз до 31°. Встали в 7 часов утра, в 9 двинулись в путь, прошли около 15 верст и у о-ва Кетлиц стали лагерем.

4 февраля.

Прошлую ночь пришлось мне два раза раздетому вылезать из мешка и выходить из палатки, чем спас собаку, чуть не разорванную другими отвязанными 4-мя собаками. В 9 утра двинулись дальше и, хотя собаки везут неважно, так как нарты тяжелые, а собак всего по 8 штук, все же к вечеру прошли около 15 верст и стали лагерем. Мороз сегодня доходил до 39°.

5 февраля.

Мороз до 32°. Прошли также около 15 верст. По дороге на каждом шагу множество ропак. Все же движемся вперед.

6 февраля.

Мороз 26°—32°. В 9 часов утра двинулись дальше; до обеда дорога ужасно скверная с большими ропками, а с полдня вышли на лучшую дорогу, пройдя немного по свежему льду. В 5 часов вечера стали лагерем. Можно бы двигаться гораздо скорей, но так как здоровье начальника как в ногах, так в груди не совсем хорошее, поэтому первое время идем понемногу.

7 февраля.

Мороз до 40°. В 8½ часов двинулись дальше. Дорога не легкая... Все же, хотя с трудом для начальника, а около 15 верст прошли и стали лагерем.

8 февраля.

В 9 часов утра двинулись дальше.

9 февраля.

Мороз 32°, 34° и 37°. В 9 часов утра двинулись дальше, но пройдя около двух верст, начальник идти впереди больше не мог, вследствие болезни груди, пришлось идти вперед мне, Пустошному провожать нарты, а начальник сел на нарту, в ко-

торую запрягли 10 собак, и, когда стали лагерем, я достал с каяка бутылку рому для начальника. Сегодня на судне встреча восхода солнца, а мы его увидим не раньше 14 числа, но зато сегодня мы перевалили под 82° северной широты и прошли место зимовки Нансена.

*10 февраля.*

В 9-м часу утра двинулись дальше, и сегодня тоже я шел вперед, а начальник все время сидел на нарте, это совсем неприятная для нас история, так как в Теплиц-Бае, на зимовке герцога Аbruццкого придется много больше прожить, чем предполагали, для поправления здоровья начальника. Мороз сегодня до 39°C.

*11 февраля.*

Сегодня мороз до 42°. В 10 часов утра двинулись дальше. Начальник болен окончательно, что наводит на нас великую грусть. Я все время иду вперед, выбирая дорогу среди безобразно наставленных ропак. Путь не легок, так как приходится проводить по одной нарте и начальнику в это время приходится идти, что для него невыносимо тяжело, и при такой ужасно тяжелой дороге... Желательно возможно скорее прибыть к месту зимовки герцога Аbruццкого, так как о повороте обратно к судну начальник и думать не допускает.

*12 февраля.*

Мороз сегодня спал с 37° до 28°C. В 8<sup>1/2</sup> часов утра двинулись дальше. Сперва дорога шла очень хорошая, но пройдя около 8 верст, встретили полосу настоящих ледяных гор, которую с большим трудом перешли, и к вечеру вышли опять на сносную дорогу.

*13 февраля.*

Мороз упал до 16°C. В 9-м часу утра вышли в путь и вследствие сильного тумана с пути сбились, и попали к каким-то островам или же в пролив, и, когда туман рассеялся, налади-

лись на правильный путь и стали лагерем. Прошли всего не больше 5 верст, и когда разбили палатку, то сейчас же, к нашему несчастью, появился медведь, и на все мои просьбы не идти охотиться на медведя начальник был неумолим и во что бы то ни стало хотел убить медведя. И вот я с начальником отправился на охоту, и когда версты за две от палатки подошли мы к медведю, загнанному собаками в продушину, сделанную моржом, то оказалось, что винтовка не стреляет, так как замерз затвор. Но это не так важно, а самое неприятное это то, что обратно к палатке начальник идти уже не мог, и мне пришлось оставить начальнику свой нож для самозащиты, хотя он настолько слаб, что вряд ли смог бы в случае надобности защищаться, самому же идти в непроницаемой тьме искать палатку, запрячь оставшихся собак и приехать за начальником.

*14 февраля.*

В 9 часов утра двинулись дальше, но пройдя не более трех верст, стали лагерем вследствие сильного снега и тумана, не дающего возможности ориентироваться, ввиду чего вынуждены ждать лучшей погоды, так как впереди по курсу видна открытая вода... Сегодня же осматривал каяки, из которых один в случае надобности спуска на воду первоначально придется подчинить, а если увидим впереди землю, то придется огибать с востока. Мороз упал до 15°Ц. После несчастной вчерашней охоты здоровье начальника заметно ухудшилось.

*15 февраля.*

Мороз до 28°. Встали в 4 часа утра, так как в спальном мешке троим хорошо всем здоровым, и, чтобы не стеснять начальника, в мешок приходится лезть только для короткого сна. К тому же начальнику стало гораздо хуже. В 8 часов утра Пустошный взобрался на островок и увидел землю. Стали сейчас же собираться в путь и к 9 утра уже были в ходу. Но, пройдя не более 1 версты, увидели со всех впереди сторон совсем свежий лед. Толщина льда не превышала двух вершков.



Лед меня выдерживал. И когда я, как шедший впереди, взошел на этот лед, то за мной сейчас же была пущена нарта с каяком без начальника, которая не прошла и 5 сажен, как лед под ней провалился. Мигом я и Пустошный подбежали к нарте и стали тащить нарту в сторону за собачью упряжь, но вода, выйдя наверх, способствуя быстрой ломке льда, не дает нам возможности подойти близко к нарте и выпрячь собак. И тут еще чуть не вышло недоразумения — сказал я Пустошному: «Обрежь собак, чтоб они освободились», — а сам оттягивал нарту. Но Пустошный не понял и чуть было не обрезал шлеек у самой нарты. Вскоре собак освободили. И что за неожиданная радость? Каяк, нагруженный более 20 пудами и в нескольких местах пробитый, благодаря предохранительному парусиновому чехлу и наполовину не погрузился в воду. Тогда я стал тянуть нарту за шлейки, а Пустошный — проламывать лед, чтобы повернуть нарту в обратную сторону. И когда все было сделано, тогда мы оба взялись за упряжь и вздернули нарту на лед. А отойдя от этого места на более прочный лед, стали лагерем. Путь кругом один и тот же, ввиду чего придется стоять день или два, пока лед закрепнет настолько, чтобы мог выдерживать тяжесть нарт. Здоровье начальника, к несчастью, ухудшается, и к болезни груди возвратилась болезнь ног. Сегодня Пустошный растирал ноги начальнику спиртом, и оказывается, что на ногах появилась сыпь. Желательно лишь одно — это возможно скорее добраться до места зимовки герцога Абрुццкого, где можно будет хотя и две недели с лишним прожить, но в надежде на лучшее, так как там должен быть запас керосина, которого мы сможем взять для поддержки нормальной температуры в помещении, которое также думаем устроить для начальника. Пока у нас получилось не на словах, а на деле, что «сиди, мол, у моря и жди погоды». Но что поделаешь? Отчаиваться нечего, важно и даже очень важно лишь одно: чтобы возможно скорее поправился наш начальник. Вечером сварил для начальника компот — и это вся его еда. Близко от нас открытая вода, над которой летают целые стаи полярных уток, кайр, и собаки, словно беш-

ные, носятся по солончаку. Из воды часто высовывают головы моржи и морские зайцы, которые также не дают собакам отдыха.

*16 февраля.*

Встал в 6 часов утра. Сегодня также прождем, пока закрепит лед. Завтра же двинемся вперед в надежде, что двухсуточный, хотя и небольшой, мороз, но лед укрепит, чтобы выдержал тяжесть до 25 пудов. К полудню прояснилось, и стала видна земля кронпринца Рудольфа. Сегодня же на короткое время показалось солнце, которое не видели мы с 8 октября 1913 года. К вечеру я и Пустошный обвязались веревкой и один от другого сажень на 15 пошли по льду испытать его крепость. Я шел впереди. Не прошли и 50 сажень, как Пустошный мне крикнул: «Лед под тобой гнется!» Я остановился и ударил палкой по льду, который с одного удара пробил. И тут же стало ясно, что такой лед тяжести нарт, да еще с большим начальником, не выдержит. А ждать нам больше также нечего, так как в случае шторма лед, на котором мы стоим лагерем, обязательно поломает и тогда мы вынуждены будем искать спасения на более крепком льду, которого поблизости нет. Ввиду этого пошли мы в восточную сторону и, пройдя около 7 верст, увидели, что подход к земле Рудольфа возможен лишь с юго-восточной стороны. Другого же исхода никакого нет.

*17 февраля.*

Мороз до 25°. В 8 часов утра двинулись дальше, но пройдя около 10 верст, начальник, сидевший на нарте, несмотря на то, что был одет в меховой одежде, стал жаловаться на невыносимость мороза. Пришлось остановиться, развязать передовую нарту и достать спальный мешок, который разложили на нарте, и в него влез начальник, спасаясь от холода. Но и это помогло мало, так как, пройдя еще около трех верст, пришлось остановиться, разбить палатку и оттирать ноги начальнику спиртом, после чего опять положили на нарту спальный мешок с начальником и двинулись дальше. К счастью, дорога очень хорошая, и

мы быстро продвигались вперед. Но не дойдя до острова Рудольфа версты три, я, как шедший впереди, стал сворачивать со свежего льда на старый, направляясь к острову, и на самой стыке свежего льда со старым я провалился в воду. Так как на ходу был сильно распотевшим, то, выкарабкавшись из воды, пошел без всякой остановки дальше в надежде дойти до берега. А оказалось совсем не так. Пройдя еще около  $1/2$  версты, я оглянулся назад и увидел, что последняя нарта, на которой лежит начальник, стоит. Я сейчас же воротился обратно. Оказалось, что на повороте мешок с начальником с нарты упал, а тяжело больной начальник даже не чувствовал, что упал с нарты, и лежа на снегу в мешке, спросил: «Линник, почему нарта стоит на месте, а не двигается вперед?» А тогда я сказал ему: «Вс с нарты упали». А на дворе с небольшой метели началась настоящая вьюга, и тогда решено было движение прервать и тут же разбить палатку, к которой подтащили мешок с начальником. И он с трудом влез в палатку, где сейчас же начали растирать его ноги спиртом. Сегодня начальник настолько слаб, что даже перестал записывать метеорологические наблюдения и также перестал писать свой дневник.

*18 февраля*

Мороз до  $41^{\circ}$ . Встали в 10 часов утра, хотя проснулись в 6. На дворе снежная буря. Двигаться вперед невозможно, к тому же здоровье начальника почти безнадежное. И одного часа за ночь не пришлось уснуть, так как начальник ежеминутно жалуется на ужасный холод в ногах и невозможность и тяжесть дыхания. И когда я сварил чай, то почти со слезами уговорил начальника выпить две чашки молочной муки «Нестле». Это кроме компота, сваренного три дня тому назад. Начальник ничего не ест. После этой еды опять залезли в мешок. Но не пришлось в нем пробыть и одного часу, так как начальнику стало невыносимо тяжело дышать и холодно. Я скоро зажег примус, а Пустошный пошел засыпать палатку снегом, так как такой вьюги с  $35^{\circ}$  и даже  $41^{\circ}$  мороза еще не было. Оставшись в па-

латке, я предложил начальнику чего-либо поесть. И получая на все отказ, предложил, наконец, либо имеющуюся полукоробку осетрины или же коробку вихоревских консервов «гороху», на что начальник изъявил желание. Тогда я велел Пустошному достать все сказанное, а сам начал варить начальнику шоколад. Но Пустошный достал только осетрину, а гороху достать не мог, так как во время работы при бешеной буре с 38° мороза у него пошла кровь из носа и изо рта, после чего он залез в палатку отогреться, я же начал отогревать замерзшую баночку осетрины. И когда еда была готова, то, не имея никакого понятия в болезни начальника, а зная, что больным дают коньяк, я предложил начальнику рюмку коньяку для возбуждения аппетита. И когда начальник выпил, то тут же я испугался до невозможности, так как моментально начальнику стало плохо... К счастью, это скоро прошло. И тогда начальник изъявил желание съесть осетрины. Чайной ложкой я начал кормить начальника, и около половины полукоробки осетрины начальник съел, затем выпил чашку шоколаду и с трудом залез в спальный мешок. Но помещение в палатке на льду и болезнь не дают покоя. Вскоре начальник вылез из мешка и сел около горящего примуса, охая и тяжело дыша.

Сегодня же у меня начало зарождаться сомнение в успехе нашего предприятия. А как сразу все хорошо было пошло! 35-градусные морозы для нас были ничто, так как все мы трое во главе с начальником отлично сознавали великое значение путешествия к полюсу и также все трое и в мысли не допускали, что в выносливости против бывших до нас путешественников в полярных странах мы окажемся слабее. Проклятая же болезнь может изменить все дело.

*С 18 по 19 февраля.*

Всю ночь о сне никто и не думал, так как ежеминутно начальник теряет сознание, мечется во все стороны, ища облегчения. Все время горит примус и растираем спиртом грудь и ноги начальнику, но облегчения никакого не получается, и видимо,

что болезнь принимает опасный оборот. Боюсь, чтобы все не окончилось печально. Примус горит без остановки, сжигая до 10 фунтов керосина в сутки, и перерыв горения делается только при наливании керосина в примус. И сейчас же начали третий и последний пуд керосина, надеясь все пополнить на зимовке герцога Аbruццкого. И не дай бог, если там не окажется горючего материала, так как тогда нам не только не будет топлива к полюсу, а самое для нас страшное это то, что нечем будет поддерживать температуру для лечения больного нашего начальника.

19 февраля.

Вьюга не перестает.

20 февраля.

Все время держу на руках голову начальника, который ежеминутно теряет сознание... Пустошный, стоя на коленях, держит примус над грудью начальника, а я поддерживаю на руках голову. К великому нашему горю, это продолжалось недолго, и в 2 часа 40 минут дня начальник в последний раз сказал: «Боже мой, боже мой! Линник, поддержи!» Голова, находившаяся у меня на руках, склонилась, он испустил последнее дыхание.

Страх и жалость, в эту минуту мной овладевшие, никогда в жизни не изгладятся из моей памяти. Жалея в душе близкого человека, второго отца — начальника, минут 15 я и Пустошный молча глядели друг на друга.

21 февраля.

Мороз до 35°. Всю ночь, одевшись в меховую одежду, прижались друг к другу и продрожали над телом своего начальника, так как уснуть сколько-нибудь не давал мороз, а в спальном мешке тело начальника. В 6 часов утра попили чай, и тут же я решил действовать так, как позволят обстоятельства... Во время питья чая я заплакал, взглянув на рядом лежавшего своего начальника, но уже не дающего распоряжения, а мертвого...

Когда отрывали нарты, занесенные снегом, собаки с лаем понеслись к морю. Смотрим, не более полуверсты от палатки медведь, но охотиться за ним и не подумали, так как с потерей начальника вся работа валится из рук.

22 февраля.

Старшинство за действия принял я на себя. Все обдумал и в окончательном и бесповоротном смысле решил так. Тело начальника похоронить в конце скалисто-обрывистого и в начале глетчерного берега, расположенного на 33W. Всю провизию и ношеную одежду, но для нас лишнюю, бросить прямо на льду, все же инструменты и приборы, ввиду их ценности, а главное, быть может, надобности на судне, взять обратно, но до первого критического момента, и вообще взять с собой всего необходимого приблизительно на полтора месяца и возможно скорее двигаться обратно к судну только на одной нарте, так как для двух нарт собак нет. К тому же керосина осталось не больше 10 фунтов, и с сегодняшнего дня решено чай варить один раз в сутки. Что будет впереди — увидим, а теперь особенно неприятно.

23 февраля.

Тело своего начальника решаю хоронить в меховой одежде, в которой он и умер, ничего с него не снимая, кроме хронометрических часов. Затем вместо гроба, который сделать не из чего, оставить в парусиновых мешках, а из лыж сделать крест, который будет поставлен на могиле начальника. Положение в настоящий момент — не поддающееся описанию. Весь остаток провизии я бросаю прямо на льду, но тело своего начальника — никогда! Несмотря на исход у нас керосина, я же лучше или буду мерзнуть до прихода на судно, или же рискну и своим здоровьем, но постараюсь переждать всякую бурю и похоронить начальника на косогоре и рядом с ним положить дорогой для всех нас русский национальный флаг, предназначенный для водружения на самой дальней точке нашего путешествия. Но,

увы, мечты первого русского полярного путешественника, рискнувшего своею жизнью прославить Родину завоеванием открытия Северного полюса, не увенчались успехом. А ведь сколько было надежды и энергии в достижении желанной цели!

24 февраля.

Встали в 5 часов утра и без всякой еды принялись за приготовление к похоронам. Сама даже природа сочувствует нашему горю, установив хотя и холодный, с 35 градусами мороза, но зато тихий и ясный день. И сейчас же по выходе из палатки впряглись оба в нарту, на которой было положено тело нашего начальника, затем сделанный мной из лыж крест, кирка для добывания камня, молоток для щебня и русский национальный флаг, складной, с медной трубкой, на которой выгравирована надпись следующего содержания: «Expedition Leit Sedov'a 1912—1914 гг.» Через  $1\frac{1}{2}$  часа были у самого берега и, выбрав подходящее место, втащили нарту с покойником на косогор, высотой до шести сажен от уровня моря, где и было решено предать тело земле. Обряд похорон происходил следующий: я выбрал, насколько это было возможно, поровней место, разгреб снег лопатой, затем мы сняли тело с нарты, повернули головой к осту, сняли шапки, я перекрестился и сказал: «Господи, боже наш, прими душу усопшего раба твоего Георгия»,— после чего трижды пропели «Вечную память» и затем снятое с нарты тело уложили на назначенное место. От первого камня, положенного мной на могилу в знак глубокого скорбного траура, я отбил три кусочка: один — для себя, один — на судно и один — думаю доставить супруге бывшего моего начальника. Это же сделал и Пустошный. В 10 часов утра могила с установленным крестом была готова. Флаг положен вместе с начальником. Нарта, на которой везли тело, оставлена у могилы. Также оставлены кирка и молоток. С камнем на сердце и слезами на глазах взглянул я последний раз на могилу, перекрестился и пошел к палатке, где с Пустошным сразу же после скорой еды мерзлого сала стали собираться в обратный путь.

*25 февраля.*

Мороз до 38°. Встали в 7 часов утра. До обеда дорога была хорошая, и 14 запряженных собак везли нарту сносно. Но с полудня дорога изменилась, хотя и на ровную, но очень тяжелую, в виде глубокого рыхлого снега, на котором смерзлась лишь верхняя корка, не выдерживающая тяжести нарты.

*26 февраля.*

С утра сегодня пришлось заправить на короткое время примус, т. к. адски начали мерзнуть ноги. В 9 часу утра двинулись дальше. До обеда обходили торосы, и движение было сносным. Но с обеда обходить уже было некуда, и пришлось продолжать путь по настоящим ледяным горам... Сегодня шесть дней как у меня на руках умер мой начальник. Много было бы лучшим, чтобы сегодняшней день я двигался дальше на север и вместе с начальником, чем иду я к судну, и без него. Мороз сегодня до 38°.

*27 февраля.*

Мороз до 31°. В 8 часов утра двинулись дальше. С полудня началась метель, перешедшая вскоре в бешеную вьюгу. Пришлось прервать движение и стать лагерем, пройдя всего около 12 верст. Если завтра не будет вьюги, думаю оставить сзади роковой 82° северной широты, взявший жизнь начальника.

*28 февраля.*

Мороз до 29°. Вьюга на дворе продолжается, и лежать в спальном мешке невыносимо холодно. Керосина у нас остается не больше, как на три раза, и до судна всего лишь до 100 или 120 верст. Но между этим ничтожным расстоянием стоит целая пропасть. Эта безжалостная полярная вьюга, не позволяющая двигаться вперед, и все время бешено дует такой неприятный для нас ветер, который в любую минуту может нас оторвать и



унести в океан, а тогда уже наша песня спета... Стоим сейчас на том месте, до которого думали идти с судна провожать нашу партию, но вследствие большинства больных из команды и других обстоятельств провожать нас не пошли.

*1 марта.*

Мороз до 24°. Вьюга стихла. Встали в 5 часов утра, согрели по чашке какао и в 8 часов утра двинулись дальше... С обеда прояснилось, и двигаться стало гораздо быстрее. Дорога хорошая, хотя на пути множество трещин и одну встретили такую, через которую не меньше двух часов искали перехода... 9 дней кончины нашего начальника. Забытым быть не может, и в знак поминовения вечером вместо чая сварили компот.

*2 марта.*

Встали в 10 часов утра, так как двигаться раньше — бесполезная путаница в торосах ввиду начавшейся метели. Сегодня дует сильный NW ветер, который нас в океан не оторвет, но зато может напором старых льдов поломать свежий лед, на котором мы стоим. В 12 дня вьюга немного стихла, и двинулись мы в путь. С сегодняшнего дня затвор от винтовки держу в кармане. Думаю по дороге напасть на зверя и воспользоваться его салом для топлива, а то, если вьюга вздумает быть неделю, придется стать ближе к берегу и заняться добычей зверя, а иначе дело наше неважно. Так или иначе, а дней через пять думаю быть на судне, хотя сегодняшний переход ужасно скверный: пропутались все время в безобразных торосах и вряд ли продвинулись вперед более трех верст и ввиду начавшейся сильной вьюги пришлось стать лагерем. При установке нашей парусиновой палатки одно мучение, так как палатка наша представляет теперь обледенелый кусок парусины. Вечером сегодня вместо чая растаяли только по чашке воды, так как керосин на исходе и приближается скверное время. Безжалостные же вьюги не дают нам возможности быстро двигаться к судну. Сегодня, проведя время без примуса, с уверенностью можно

сказать, что мало видел горя тот, кто не сидел в палатке на льду и в полузамерзшем спальном мешке не дрожал с кружкой холодной воды в руках.

4 марта.

Дело наше плохо, хотя и идем на юг, но, кажется, попали между островов и не знаем, где находимся. Завтра думаю пройти день на запад. Для питья пользуемся мокрым снегом, который растаиваем в кружке дыханием.

5 марта.

Бредя на запад, неожиданно наткнулись на айсберг, который покойный начальник сфотографировал на второй день по выходе нашем из судна.


6 марта.

В 4 часа утра двинулись в путь. На пути не старый, по которому мы отходили от судна, лед, а свежий солончак. Видимо, тут не так давно была открыта вода. В начале десятого часа утра повернули на мыс и увидели судно.

Е. М. ШАВРОВА

## НАШ МИЛЫЙ ЧЕХОВ

Мемуары писательницы Е. М. Шавровой посвящены памятным встречам за сорок лет дружбы с А. П. Чеховым. Авторская рукопись мемуаров, озаглавленная «В стране минувшего», хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.



От Михаила Павловича Чехова я знала, что его брат Антон готовится к поездке на остров Сахалин, и было грустно при мысли, что теперь уже невозможна будет даже случайная встреча с Антоном Павловичем.

Чехов уехал. Весна, лето и осень промелькнули так быстро, и мысль моя все время неотступно следовала за ним, среди трудностей и опасностей его пути, о которых я не могла не догадываться. Так прошла длинная, скучная осень, и я наконец узнала от Михаила Павловича, что самое тяжелое из путешествия Антона уже позади, что он здоров и теперь едет через Индию и Суэцкий канал обратно в Европу. 9 декабря 1890 года он наконец вернулся в Москву.

В январе 1891 года в залах Дворянского собрания был большой ситцевый костюмированный бал в пользу сценических деятелей. И на этом балу мы совершенно неожиданно встретились с Антоном Павловичем.

Он похудел, больше горбился, вокруг глаз появились у него тонкие, едва заметные морщинки, которых раньше не было. От того милого, беспечного выражения, какое было у него в Ялте, не осталось и следа. Лицо стало серьезнее, как-то суше и старше. Мне было больно увидеть эту перемену. Правда, таково было только мое первое впечатление, и потом оно, разумеется, сгладилось.

Антон Павлович был весел, оживлен в этот вечер и рассказал много интересного о своем путешествии. Всего мрачного, тяжелого он намеренно избегал и больше всего говорил об экзотических странах — Цейлоне, Сингапуре, Порт-Саиде, Гонконге и Константинополе, которыми очень восхищался.

Я слушала его и вспоминала Ялту. Точно так же наш милый Чехов рассказывал нам, фарфоровым барышням, бывало, свои впечатления, возвращаясь из какой-нибудь поездки по окрестностям чужого берега. После этой встречи на балу мы опять долго не виделись и только переписывались.

А в 1892 году он купил Мелихово и переселился туда.

Однажды я поехала проводить его до Лопасни. Стоял теплый майский вечер.

Два часа пути прошли быстро и незаметно. О чем только мы не успели переговорить за это время с Антоном Павловичем и, между прочим, также и о спектакле, который мы собирались поставить в Серпуховском кружке любителей сценического искусства в пользу школы, которую Чехов хотел строить в своем уезде. В эти годы мы с сестрой часто ездили играть в разные города — в Тверь, Торжок, Иваново-Вознесенск и другие. Средств для постройки не было, и приходилось изыскивать их. Антон Павлович собирал пожертвования, но, конечно, главным образом тратил свои собственные деньги. Так, на мелиховскую школу пошел гонорар, полученный за «Чайку», и деньги, выру-

ченные за продажу яблок из мелиховского сада. И вот Антон Павлович задумал устроить в Серпухове спектакль и обратился ко мне и к моей сестре с просьбой помочь ему в этом. Мы с радостью согласились и стали хлопотать. Прежде всего необходимо было найти интересную и незаигранную пьесу, где мало действующих лиц. Дело в том, что не особенно легко найти фанатиков искусства, готовых ехать играть безвозмездно в глухую провинцию в разгар зимнего сезона да еще заплатить за дорогу.

В конце концов мы выбрали пьесу «Брак» — переделку Гнедича с французского — и веселую одноактную комедию Билибина «Приличия». Участвующих было всего шесть человек, и роли прекрасно разошлись. В одном из своих писем он писал мне: «Многоуважаемая коллега, посылаю Вам ответ старшин. Выбирайте день. Поезжайте к 12 часам со скорым. Приехав в Серпухов, подзакусив на станции, садитесь на извозчика (очень плохого, ибо хороших здесь нет) и поезжайте в кружок. Город серый, равнодушный, но рассчитываю, что спектакль даст 75—100 рублей чистых, а для уезда 75 рублей — все равно что 1450 для города. С марта я начинаю строить школу, в июне она уже будет готова. Афишу я повешу на стене в рамочке, это в память о Вашей доброте».

20 февраля я снова получила письмо из Мелихова. «Итак, многоуважаемая коллега,— писал Чехов,— в субботу утром я уезжаю в Серпухов. В 3—4 часа мы увидимся в кружке. Если Серпухов не понравится Вам и если Вы утомитесь очень, то, пожалуйста, не поставьте мне это в вину. Судя по тому, что афиши еще не разосланы по уезду, с советом старшин творится что-то неладное. Боюсь, что известный Вам «интриган» получит на школу 7 рублей 25 копеек, и только».

Откровенно говоря, сладить этот спектакль было нелегко, но наконец 27 февраля наш небольшой артистический караван двинулся из Москвы в Серпухов. Выехали нарочно пораньше, чтобы успеть осмотреться и прорепетировать пьесы на сцене до начала спектакля, что мы всегда делали. Помню, был ясный мо-

розный день с ярким солнцем и хороший санный путь. Весело было ехать с вокзала в город на маленьких полудеревенских санках с бубенчиками. Совсем как на масленице! В кружке нас, по-видимому, не ждали так рано. Палаццо серпуховских дождей встретило нас сурово, ибо оно оказалось просто запертым на огромный висячий замок. Наконец пришли некоторые из старшин, и когда нам открыли, то помещение кружка поразило нас своей скромностью. Это была просто большая, длинная комната с низким потолком, и освещалась она керосиновыми лампами. Все было очень примитивно и даже бедно. По лицам наших товарищей-артистов я хорошо видела, как они неприятно удивлены и разочарованы видом города и кружка и сцены.

— Ну и в труппы же вы завезли нас, Елена Михайловна! — сказал мне один из них.

Старшины тоже оказались какими-то застенчивыми, нелюбезными людьми. Я видела все это, но молчала и только с нетерпением поджидала приезда Антона Павловича. Когда он наконец приехал, то все, как по волшебству, изменилось. Он сейчас же распорядился, чтобы нам дали чаю и бутербродов, а сам занялся устройством всего нужного для спектакля. Он позвал плотника и отправился с ним вместе в сарай выбирать нужные декорации, а потом справлялся по списку, какая нужна бутафория и реквизит. Он принимал участие решительно во всех мелочах и делал все с таким вниманием, с такой охотой, как самое дорогое, любимое им дело. Увлеченные его примером, даже малоподвижные, корявые старшины клуба оживились и стали помогать, так что общими усилиями сцена была вполне прилично и даже хорошо обставлена. Душой всего был Антон Павлович. Он расставлял мебель, приколачивал портьеры, вешал картины и старался, чтобы все казалось и было возможно лучше.

Мало того, во время спектакля он был все время за кулисами и сам по книжке следил за выходами. Наши артисты также приободрились, стали смотреть веселее, я уже не слыхала иронических замечаний и вздохнула свободнее.

Спектакль прошел гладко. Играли все хорошо, и публика осталась довольна как пьесами, так и исполнением. Нас шумно вызывали, громко аплодировали, приходили знакомиться за кулисы, благодарили и просили приехать еще. Успех был полный.

На вокзале Чехов устроил ужин для всех участвующих, а затем поехал вместе с нами в Москву. Это было в три часа ночи.

Товаро-пассажирский поезд шел медленно, останавливаясь на всех станциях и полустанках, а ночь была холодная и темная. Мы сидели в купе второго класса, закутанные в шубы и пледы, как заговорщики, а на стене тускло горела и покачивалась в фонаре толстая вагонная свеча. Но все-таки было чудесно ехать и говорить с Антоном Павловичем под мерный стук колес. Совсем не хотелось спать. Утомленные спектаклем и волнениями, проведя на ногах около суток, мы усталости не чувствовали, а были довольны и счастливы.

Несмотря на весьма скромную цифру сбора (всего 107 рублей), Чехов все-таки не отказался от мысли продолжать устраивать и в будущее время такие спектакли в пользу народных школ. Мы даже начали репетировать пьесу Зудермана «Бой бабочек». Но Антон Павлович, посоветовавшись со старшинами серпуховского кружка, написал мне следующее письмо: «Многоуважаемая коллега, я виделся с отцами города, они советуют отложить спектакль до осени. Говорят, что граждане г. Серпухова в теплое время охлаждаются к театру и сами отцы, повесив на дверях кружка тяжелый замок, укладываются в берлоги, где и спят до осени. Что же, подождем до октября! Только, пожалуйста, в течение лета не сделайте с собой чего-нибудь такого, что могло бы помешать Вам играть осенью, например не убежите с любимым человеком в Индию. Я крепко держусь за идею сделать благотворительные спектакли в пользу народных школ обычным и привычным явлением и эту идею фиксирую на Вас как на фундаменте, ибо без Вас она неосуществима».

Но, увы, надежде этой не суждено было осуществиться. Сестра моя Ольга Михайловна получила ангажемент и уехала играть в провинцию. Меня задержала болезнь мужа, а сам Ан-

тон Павлович уехал в Ниццу. Я стала получать изящные длинные и узкие бледно-зеленые и лиловые конверты из-за границы.

Узнав, что сестра моя играет в Таганроге, Антон Павлович тотчас же написал своему двоюродному брату, просил его познакомиться, передать от него поклон и сделать все возможное, чтобы ей хорошо жилось в его родном городе.

Осенью 1898 года Чехов жил в Крыму, и мы часто виделись с ним в Ялте. С того времени у меня сохранилась карточка, снятая в фотографии «Юг» с меня и моего мужа. Дело было так. Гуляя однажды с нами по набережной в Ялте, Антон Павлович зашел взять свои портреты в фотографию и шутя предложил нам сняться. Мы согласились. Антон Павлович принял в этом большое участие, сам устанавливал нас, совсем как заправский фотограф.

— Смотрите веселее, — все повторял он, входя в свою роль. — Прошу вас, многоуважаемая коллега, думайте о чем-нибудь приятном, например о том крупном гонораре, что заплатит вам «Русская мысль» за большой роман в двенадцать печатных листов, который вы пишете.

В следующий год в Ялте долго жила моя младшая сестра Анна Михайловна. Жила она на даче Иловайской с чудным садом, где временно, пока строилась его дача, проживал и Чехов.

Сестра рассказывала нам потом, что в доме Иловайской, да и во всем городе, Антон Павлович был всегда центром всеобщего внимания, поклонения и любви. Поклонниц у него всех возрастов было великое множество, и их в Ялте называли «антоновками». Среди них было немало пожилых особ — учительниц, обывательниц, классных дам. Этих поклонниц Чехов называл «душевными красавицами».

Мы все очень любили Крым и почти каждую осень проводили в Ялте. Жили и тогда, когда строилась дача писателя. Среди пыли, шума и стука Антон Павлович жил с сестрой и матерью в маленьком флигельке. Он сам входил во все решительно, возился с замками, задвижками и разной мелочью. Когда я



пришла в первый раз, Антон Павлович и Марья Павловна показывали мне дачу, водили повсюду. Комнат было девять. Лучшие две предназначались писателю. Рядом была спальня матери. На площадке лестницы, возле двери в кабинет, было прибито что-то вроде открытого шкафа с полками.

— А это для справочников,— сказал Антон Павлович,— для путеводителей, календарей, словарей, каталогов и тому подобных полезных и нужных книг. Заметьте, что все справочники должны быть всегда непременно под рукой к услугам всех живущих в доме.

В кабинете с одним большим окном из желтых стекол, дававших приятный свет, было очень уютно. Имелся камин с вделанной в него картиной Левитана.

В последний раз я видела Антона Павловича в конце ноября 1900 года, когда он приехал из Ялты в Москву перед отъездом за границу. В дождливое, хмурое утро я пришла за билетами в Художественный театр, помещавшийся еще в Каретном ряду, и в вестибюле встретила Чехова.

В театре шла репетиция, и он спешил туда. Увидев меня, он удивился и, радостно подав мне руку, сказал:

— Какая неожиданная встреча! Вы в Москве, а я и не знал об этом! Здоровье мое, как видите, превосходное! Все кашляют, жалуются, а я благоденствую и даже пополнел! Приехал я сюда на три дня, а застрял на два месяца! Но в декабре непременно уеду. Уже взят билет и заграничный паспорт.

Я внимательно всматривалась в Антона Павловича. Он был неузнаваем. Болезни как не бывало. Передо мной стоял молодой жизнерадостный человек с блестящими глазами и гибкими движениями, чем-то увлеченный и очарованный. И впечатление о таком Чехове надолго сохранилось в моей памяти. В то пасмурное осеннее утро все мысли его были там, на сцене Художественного театра, где шла репетиция «Трех сестер» и Машу играла артистка Ольга Леонардовна Книппер.

М. В. БАБЕНЧИКОВ

## СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЛАСТНЫМ

Автор воспоминаний об Алексее Максимовиче Горьком — историк искусств М. В. Бабенчиков. Воспоминания публикуются по рукописи Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.



Мои читательские связи с Горьким возникли на рубеже двух эпох и, как у большинства людей моего поколения, вылились в форму романтического представления о бескрайних просторах Волги и парящем над ней Соколе.

Гораздо позже я узнал Алексея Максимовича лично, и к этим ранним романтическим образам присоединились непосредственные впечатления о нем, как о человеке. Как ни странно, ярче всего я представляю себе Горького слушающим, чем говорящим, не пишушим, а внимательно перелистывающим страницы книг, не в тиши рабочего кабинета, в беседе «с глазу на глаз», а в самой гуще разноликой толпы. Всюду, где бы Алексей Максимович ни появлялся, его окружали люди. Вечно с упрямой на-

стойчивостью он искал и открывал новые и новые таланты, кого-то устраивал и выручал, кем-то восхищался.

Таким я увидел Горького впервые, когда он, вскоре после возвращения из-за границы в декабре 1913 года, пришел в редакцию журнала «Современник», которая помещалась в тесной и низкой комнатухе, и, быть может, потому Алексей Максимович с первого же раза показался мне чуть ли не великаном. Высоким он, положим, выглядел всегда из-за костистой худобы и сутулой манеры держаться. И все-таки я не помню другого человека, в котором бы нескладность фигуры так уживалась с эластичностью и непринужденностью походки и движений. Легко и свободно входил Горький в комнату и так же легко находил для себя уютную и какую-то свою, «горьковскую» позу. Легко и, казалось, нежно, словно боясь причинить боль, Алексей Максимович прикасался к любимым предметам. Подобная непринужденность движений встречается у людей, привыкших долго колесить по белу свету и волей-неволей вынужденных приспособляться к случайной обстановке. Еще одна особенность Горького всегда поражала меня — его умение носить одежду. Все казалось на нем красивым, добротным и одетым впервые. Платье было выглажено так, что не имело ни одной лишней складки. Синева сорочки оттеняла смуглый цвет лица. Обувь сияла, начищенная до отказа. И даже домашние мягкие туфли, не теряя своей первоначальной формы, выглядели только что принесенными из магазина.

Черты его скуластого лица были угловаты, но в них содержалась неотразимая привлекательность. Особенно способствовало этому выражение его глаз, пристально смотревших на собеседника. Говорил он теплым грудным голосом, сочно и выпукло, а сама речь его пестрела старомодными оборотами. Но все эти необычные слова придавали его речи острую емкость.

— Мир прекрасен, — любил повторять Алексей Максимович, неохотно расставаясь с только что прочитанной книгой или же рассказывая о полученном от неизвестного читателя письме.

Алексей Максимович, как бы любуясь этим выражением, всякий раз произносил его на иной лад, вкладывая особое значение и внушительность. И больше всего поэтому Горького привлекали люди, украшавшие жизнь. Причем к ним он относил не только деятелей красоты — художников, артистов, писателей, музыкантов, но и людей красивой жизни — тех, кого он называл ее украшателями. Он мог часами говорить о них, восхищаясь их человеческими подвигами, и в беседах об искусстве часто в качестве примера приводил «творцов выдумки».

— Я человек страстный и пребуду таковым дондеже есмь, — лукаво улыбаясь, отшучивался Алексей Максимович, когда кто-либо укорял его за излишне восторженное отношение к людям.

Появлялся Горький в столице довольно редко, и его каждое публичное выступление превращалось в событие. Я был на некоторых из них, в том числе на вечере в «Бродячей собаке», куда Алексея Максимовича привезли падкие до сенсации футуристы. Как сейчас вижу торжествующую физиономию Б. Пронина, хозяина «Собаки», встретившего Горького у порога этого злачного артистического логовища, и насупленный недовольный взгляд Алексея Максимовича, с трудом пробиравшегося сквозь назойливую толпу.

Раздраженное состояние не покинуло Горького и тогда, когда он, настойчиво опекаемый Давидом Бурлюком и Василием Каменским, занял место за председательским столом. Я сидел близко, и мне было хорошо видно, как Алексей Максимович хмурился, беспокойно поворачивал голову и теребил ус, что всегда служило у него знаком внутреннего волнения. Это был один из первых выходов Горького после возвращения из-за границы в малознакомую ему актерскую среду. А он физически не выносил богемы, духом которой была проникнута вся атмосфера «Бродячей собаки».

Но вот началось чтение стихов. Дерзкий пыл молодых поэтов заставил Алексея Максимовича невольно насторожиться. В своем выступлении на этом вечере он, как известно, так и

сказал: «В них что-то есть». «Что-то» в горьковских устах было своеобразной похвалой и означало молодость, которую он всегда отождествлял с проявлением героической воли к лучшему будущему. Вот почему Горькому и на этот раз больше других понравился Маяковский.

— Силач, далеко пойдет, даром что молод и неугомнен, такие в самый раз нужны,— говорил он спустя несколько дней. И вместе с этим резко осуждал нарочитую грубость выражений и заумность футуристического языка.

Моя следующая встреча с Горьким произошла в Москве весной 1920 года на открытии выставки реставрационных мастерских Главнауки. Когда я вошел в выставочный зал, Горький стоял и внимательно рассматривал знаменитую рублевскую «Троицу». Низко нагнувшись и желая, очевидно, проверить добротность доски, он даже осторожно пощупал ее пальцем и, водрузив на нос большие круглые очки, как бы размышляя, вполголоса сказал:

— Мастеровито сделано. В Нижнем, когда я еще мальчуганом был, у нас печатник один славился. Так он такие иконы «фальша» называл. По его, это хорошей кисти значило. Редкая, дескать, икона! А вот та,— Алексей Максимович указал перстом на изображение спасо-московской школы,— веселого письма. Не виню, народ живой, любит поярче. А что насчет святости — так для кого как. Эту иконописную выучку на себе испытал. И знаю, для богомаза икона не святыня. Зато любовался красотой древнего художества с тех пор, как себя помню. Высокое искусство!

И Алексей Максимович, повернув голову в мою сторону, вдруг неожиданно спросил:

— Может, что неправильно говорю?

Лицо Горького поразило меня своим необычным выражением. Он и впрямь показался мне в эту минуту похожим на какого-нибудь зело хитрого в своем мастерстве «ремесленника во славу красоты», которыми издавна изобиловала матушка Русь.

Полюбовавшись вдосталь на произведения древних изографов, Алексей Максимович снял очки и, бережно уложив их в очешник, с некоторой торжественностью пробросил:

— Небезызвестный вам грек Аристотель некогда изрек, что искусство учит людей правильно радоваться. Толковая мысль.

Сказав это, Горький выдержал паузу, вытер платком усы и уже другим, деловым тоном спросил меня:

— Слышал, будто Ярославль навещаете. Как там с искусством дело обстоит? Может, кого из тамошних деятелей изволите знать?

Я ответил, что действительно хорошо знаю многих из названных им лиц. Он оживился, в словах его зазвучали задорные нотки:

— Хорош город! Писать, сударь, надо о нем. Что? Намерены? Весьма одобряю! А люди! Ну разве не дошлый народ? Один Трефолев с его «Камаринской» чего стоит. То-то и оно! Издать его давно не мешало. Недаром еще Некрасов о нем сказал: «Это мастер, а не подмастерье». Ну, а в Рыбинске как? Что Алексис Золотарев там подельывает? Все музеем, поди, занят. Доброе дело затеял. Труженик он, что и говорить. Чистой души человек, вроде псковских праведников. Это я его Алексисом любя зову. Он ведь в Сорбонне обучался. И волжанин и парижанин в одном лице. Удивительные люди! Кланяйтесь им всем от меня. Премного обяжете. А Ярославль, батенька, вы не оставляйте. Стоящее это дело. Я вам говорю. Если что будет надо, пишите. Прошу.

Глаза Горького в последний раз испытующе посмотрели на меня, и я ощутил теплоту его широкой ладони.

Году в двадцать первом я временно оказался в Петрограде, и мы опять встретились с ним в редакции «Всемирной литературы». С Алексеем Максимовичем был мой старый знакомый по «Современнику» А. Н. Тихонов. Темой беседы была исключительно литература. А надо сказать, что всякое, даже мимолетное, упоминание о ней действовало на Горького магическим образом. Слова, которые говорились им по этому поводу, оживлялись

любовью, и он, произнося их, весь преображался. Так было и тут, с той только разницей, что это внутреннее состояние страстной влюбленности в источник своей профессии проявилось у Алексея Максимовича не сразу, а постепенно, по мере того как шел разговор. Некоторое время он сидел молча, подперев голову и внимательно слушая других. Кто-то спросил его о последней книжке модной тогда писательницы.

— Жидковато,— недовольным тоном заметил Горький.— Не приемлю. И вам не советую.

А когда речь зашла о нашумевшем переводном романе, сухо отрезал:

— Тускло. Жизни не вижу. Смотришь, как в мутное стекло. Совесть надо иметь! Вот что!

И, видимо, желая придать весомость сказанному, Алексей Максимович строго добавил:

— Слово должно быть властным. Взял слово. Дал слово. Поразительно звучит это в народных устах. Согласны?..

В тридцатых годах Горький пригласил меня заняться художественным редактированием «Истории гражданской войны» и «Истории фабрик и заводов». Алексей Максимович был душой дела, которое делалось им с великой любовью. Однажды он собрал всех участников у себя. Настало время встречи. В просторное помещение библиотеки горьковского дома на Малой Никитской, легко ступая по ковру, вошел сам хозяин. Он поздоровался и сел в кожаное кресло у круглого стола.

С его приходом все сразу оживились. Художники вынули из папок эскизы, и Алексей Максимович принялся рассматривать их. Своего мнения он не высказывал, но о нем было нетрудно догадаться по тому, как хмурились насупленные брови Горького. Или, наоборот, как расцветало от неожиданной улыбки его лицо.

— Удивительно! — вырывалось из-под щетинистых рыжеватых усов Горького.— И как вас это угораздило! Прямо даже не верится, что можно так ловко схватить. Как, вы и тему сами придумали? Ну и молодчина!

Произнося это, Горький пристально вглядывался в полюбившуюся ему работу. Он то приближал ее вплотную к самым глазам, то удалял на некоторое расстояние, а затем, вдоволь насытившись лицезрением рисунка или гравюры, еще долго продолжал пребывать в состоянии нахлынувшего на него восторга. Выражал это он различными способами, но чаще всего тем, что барабанил длинными пальцами по столу или же вдруг, забывшись, устремлял взгляд куда-то вдаль и начинал медленно вставлять в мундштук папиросу.

Помню Горького и на Первом всесоюзном съезде писателей. «Наш старик», — тепло называли Алексея Максимовича приветствовавшие его представители Красной Армии. И он горячо лобызал их, как лобызал перед тем пионеров «Базы курносых», ощущая в трепетном биении их сердец биение могучего сердца страны.



## ЛЮБИМЫЙ ЦИРК

Вся жизнь заслуженного артиста Российской Федерации Виталия Лазаренко прошла на цирковом манеже. О трудной профессии клоуна и памятных встречах он оставил воспоминания, небольшая часть которых публикуется по рукописи Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.

В Саратов приехал чемпионат французской борьбы, в котором были замечательные борцы. Среди всех выделялись чемпион мира — «волжский богатырь» Иван Заикин, затем Александр Богатырев, негр Сильвестр Бамбула и в легком весе юркий боец Вальтер. Помню, в Саратове был бенефис Ивана Заикина. Шла большая цирковая программа, но вот в третьем отделении оркестр заиграл «Эй, дубинушка, ухнем!». Из-за кулис появился Заикин в русской рубахе, лаптях. На плечах он нес необычно большой бочонок. Он обошел с ним вокруг арены. Потом этот бочонок у него сняли, и он стал рассказывать публике свою биографию. Рассказывал, как из грузчика саратовской пристани сделался чемпионом мира, как был авиатором, вспоминал подробности своего детства.

Затем — борьба. В последней паре бенефициант Иван Заикин боролся с Черной маской. Во время борьбы публика с большим напряжением следила, кто кого одолеет. И вот, представьте, на сорок девятой минуте Черная маска ловко подставила ногу и положила Заикина. В цирке поднялся необычайный переполох. Все кричали:

— Неправильно!

Безусловно, борец под черной маской положил Заикина неправильно. Заикин стоял растерянный и плакал. Он ходил около барьера, обращаясь к публике, чтобы она посоветовала, что ему делать, как выйти из положения. Публика старалась его успокоить. Наконец арбитр объявил, что через два дня назначается борьба-реванш по вызову Ивана Заикина, который считает, что Черная маска положила его неправильно, и предлагает премию в пятьсот рублей, если Черная маска снова его положит.

Представление закончилось. Публика повалила на арену, окружила побежденного любимца и уговаривала его не волноваться и не беспокоиться, ибо действительно Черная маска положила его неправильно. Через два дня по городу расклеили большие афиши о реванше Ивана Заикина. Цены в цирке были повышены. И публика уже с раннего утра, часов с семи, растянулась в большую очередь у кассы, ожидая ее открытия. До двух часов дня все билеты были проданы. Около цирка крутились перекупщики. К вечеру наплыв публики был такой, что пришлось вызывать наряд конной полиции и пожарных. Во время борьбы, которая шла без отдыха, до победного конца — кто кого, напряжение как в цирке, так и за его стенами было огромное. Только на восемьдесят второй минуте Иван Заикин приемом тур де бра положил Черную маску. Поднялся гул. Публика вскочила на арену, подхватила Заикина и долго-долго его качала. Всех интересовало, кто прятался под маской. Люди кричали:

— Маску долой!

Но арбитр сейчас же сказал, что через два дня по просьбе побежденного состоится борьба-реванш.

Через два дня опять появилась афиша. Билеты в этот день были распроданы за час. Перекупщики рублевый билет на галерку продавали по пяти. И билеты шли нарасхват. Наступил вечер. Начался парад борцов. После парада в третьей паре Черная маска опять встретила с Заикиным. После свистка арбитра неожиданно для всех Иван Заикин хватает Черную маску приемом переднего пояса и ярко припечатывает лопатками к коврау. Опять гул, шум, овации, крик публики:

— Маску долой!

Борец-инкогнито начал медленно развязывать узелок тесемки, которая затягивала маску. Потом арбитр объявил, что под маской скрывался ростовский борец Разумов. Человек этот был с рыжими усами, с правильными чертами лица, высокого роста, пудов на восемь весу. Он раскланялся с публикой. Под торжественный марш победитель и побежденный покинули арену. Все это они так замечательно проделали, что публика приняла борьбу за чистую монету. Но все было сделано для больших сборов и повышения интереса к борьбе.

Иван Заикин был блестящим мастером. Он обладал невероятной силой, ловкостью и находчивостью в борьбе. Когда он плакал, а иногда его плач переходил в рыдания, то никак нельзя было подозревать, что это нарочно.

Помню, когда днем заканчивалась в цирке репетиция, я выходил на Садово-Триумфальную площадь, где на углу помещалась пивная «Ку-ку!» и ожидали два или три извозчика: «Не угодно ли, барин, прокатиться?» До Страстной площади брали четвертак. Однажды я появился на Страстной. Там всегда стоял единственный автомобиль. Его владельцем был известный борец Лютов. Я остановился около автомобиля, а в это время подошли знаменитые борцы Иван Поддубный и Збышко Цыганевич. Они обратились к Лютову с просьбой, чтобы он прокатил их на своей машине. Лютов сейчас же согласился и стал заводить машину. Он ее заводил не менее двадцати минут. За это время собралась толпа. Машина была старого образца, вся в латках. Задний кузов был настолько высокий, что когда мы сели, то видны

были только наши макушки. Для того чтобы видеть все вокруг на улице, нужно было привстать с места. После двадцатиминутной возни с заводкой машины она наконец начала стрекотать, люди шархнулись в стороны. Лютов, потный, измученный, сел за руль и пустился в путь. Машина выпускала газ настолько густой, что он долго держался после отъезда. В то время езда на автомобиле была исключительной роскошью. Лютов зарабатывал на своей машине большие деньги и совершенно забросил основное ремесло, свой чемпионат французской борьбы.

В 1915 году в конце февраля или начале марта в цирк на представление пришел Алексей Максимович Горький. Сидел он в партере во втором ряду. Я перед выходом очень волновался и часто подходил к занавеси и смотрел на Алексея Максимовича, который очень внимательно следил за программой. В этот вечер я делал свое антре. В репертуаре у меня были прыжки сальто-мортале через группу лошадей. Когда я сделал свой финальный прыжок через десять лошадей, то был очень рад и счастлив, что моя работа понравилась Алексею Максимовичу. После меня был еще один номер, затем был объявлен антракт. Во время антракта Алексей Максимович пришел посмотреть на лошадей. Артисты моментально окружили его, познакомились, и я объяснял Горькому, какая лошадь что делает:

— Вот лошадь, которая принадлежит Энрико Труцци. Ее зовут Вермут. Она исполняет замечательный клоунский номер. Бегаёт по арене за мной. Например, прыгаю я в обруч — и лошадь за мной. Я убегаю за ширмы, и она продолжает преследовать меня. Тогда я взбираюсь на лестницу. Она толкает лестницу лбом, и я падаю на арену. Тут же поднимаюсь и прячусь в открытый сундук. Она забегает со стороны, становится на задние ноги, а передними закрывает крышку сундука. Сундук сейчас же при помощи проволоки увозится, а лошадь, опираясь передними на сундук, оставаясь все время на задних ногах, так и уходит.

После осмотра лошадей Алексей Максимович очень любезно беседовал с нами. Когда закончилось третье отделение и оркестр сыграл марш, артисты и публика проводили Алексея Максимовича до саней.

В начале 1919 года был мой бенефис, на котором присутствовал Александр Иванович Куприн. После бенефиса пришел ко мне, крепко пожал руку. Я тут же разгримировался и оделся. Александр Иванович попросил у меня лист бумаги и написал следующие слова: «Дорогой друг Лазаренко! Смейся, прыгай, остри, паясничай. Твой труд любит и чопорный партер, любит и шумная галерка, а больше всего любят дети, и черт побери тех, кто твое искусство поставит ниже всего другого — оно вечное».

Я пригласил Александра Ивановича на ужин. Куприн согласился. Мы все разместились за столом. Бокалы были подняты. Александр Иванович произнес речь. За ужином много шутили, веселились. Куприн был очень доволен. Когда я с ним прощался, он, уже в пальто, сел за стол и написал: «После прекрасного бенефиса, после веселого ужина у бенефицианта, после пения и пляски найду ли я слова, чтобы выразить дорогому Виталию Лазаренко, другу моему, все мои теплые чувства и благодарность за столь очаровательный вечер». В моем альбоме осталась и третья запись А. И. Куприна: «Милый Лазаренко, цирку уже много тысяч лет. И цирк еще много тысячелетий проживет, пока в людях не умрет уважение к ловкости, смелости, красоте тела и к свободной шутке».

После вечерних представлений я очень часто ходил в кафе футуристов, которое помещалось в Настасьинском переулке. Во главе этого кафе были Владимир Владимирович Маяковский, Василий Каменский и Бурлюк. Помещение кафе собой представляло длинный зал, в конце которого находилась маленькая эстрада. Посредине в длину стояли обыкновенные длинные столы, некрашенные и даже не покрытые скатертью. Обстановка была очень простая. Встречал гостей сам Маяковский. Очень часто здесь бывали И. М. Москвин и Л. М. Леонидов. Маяков-

ский очень интересовался клоунским делом и давал мне советы и темы для моих клоунских реприз.

Во второй половине октября я был приглашен Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом для участия в пьесе Маяковского «Мистерия-буфф». Во время репетиции я опять встретился с Маяковским, мы поздоровались и стали беседовать. Я просил Владимира Владимировича написать политическое цирковое антре. Он тут же с радостью согласился, ударил меня по правому плечу и спросил:

— Где мы встретимся?

Я ответил:

— Завтра за два часа до репетиции приходите ко мне пить кофе, и мы обсудим, какое сделать антре.

Он появился на другой день, как мы с ним договорились. Я вспомнил много старых реприз, шуток и тут же объяснил, какие репризы ярче и доходят до зрителя. Я сказал Маяковскому, что хорошо бы сделать номер «Чемпионат классовой борьбы». Мы на этом и остановились. Он тут же набросал в свою записную книжечку несколько слов и попрощался со мной, сказав, чтобы я зашел к нему в мастерскую, где он ежедневно бывает и рисует картины для «Окон РОСТА». Через три дня я пришел. Он усадил меня на стул и тут же начал читать. Мне антре очень понравилось. Мы сделали несколько поправок. Он тут же вручил мне текст и спросил, когда будет первая репетиция. Владимир Владимирович обязательно хотел присутствовать на репетиции. Он первый раз написал для цирка, и ему хотелось видеть, как это получится. Я обещал, что первая репетиция пройдет в его присутствии. Это было накануне Октябрьских праздников.

Антре прошло с большим успехом. Я выступал в клоунском костюме, сделанном по эскизу художника Павла Кузнецова. Во время антракта Маяковский пришел ко мне в уборную, поздравил с успехом. Он был доволен, что все прошло удачно, и тут же сделал еще несколько других поправок. Мы продолжали беседовать. Во время беседы он протянул мне лист бумаги, на

котором была написана советская азбука, текст которой еще не был закончен полностью. После того как Владимир Владимирович прочел мне азбуку, я тут же попросил сделать мне еще одно антре. Я просил, чтобы он нарисовал большие картины на картоне, штук двенадцать-пятнадцать, и для каждой картины написал две строчки стихов. Вскоре я получил обещанный номер.

Однажды в цирке Никитиных устраивался спектакль «Актеры Москвы на арене цирка». Присутствовали все артисты, в том числе был Александр Иванович Южин-Сумбатов, который должен был выступить с монологом из своей пьесы. Александр Иванович выступал в цирке первый раз, и мне пришлось ему рассказывать, где лучше на арене стоять, чтобы было хорошо слышно. Когда наступила его очередь, он вышел на арену и начал чтение. Прошло минуты три, и с галерки стали кричать:

— Громче!

Ему пришлось на минуту остановиться. Когда галерка утихла, он снова продолжал читать. Через минуту опять послышалось:

— Громче, ничего не слышно!

Александр Иванович не закончил своего монолога, ушел с арены расстроенным, и когда встретил меня, то сказал, что выступал в цирке в первый и последний раз. Я стал успокаивать его, говоря, что в цирке надо выступать по-другому, чем в театре:

— Когда вы читали свой монолог, то слышали, как эхо повторяло ваше каждое слово. Впечатление такое, будто вы говорите в бочку. Вы всю жизнь выступаете в театре, у вас все основано на нюансах, а цирк не воспринимает такую подачу голоса. Цирк любит, чтобы выступающий не стоял на одном месте, а все время поворачивался в разные стороны. Цирк круглый, и публика сидит и спереди, и сзади, и с боков. Поэтому надо обязательно поворачиваться в разные стороны, говорить громко и четко. В цирке надо просто кричать. Александр Иванович согласился и после сказал, что цирк — это тяжелая шту-

ка. Прощаясь со мной, он написал в моем альбоме: «Дай Вам судьба, милый Виталий Ефимович, всего, что можно в жизни добыть настоящим талантом. А. Южин».

В тот же вечер в цирке выступал Давыдов, актер с большим именем. Я встретил его у нашего выхода, поздоровался. У меня горели щеки. Он приподнял руку, прислонил ее к моей щеке и сказал:

— Вы волнуетесь...

Я ответил, что я уже больше двадцати лет на арене цирка.

Давыдов продолжал:

— Каждый настоящий актер должен волноваться. Возьмите, например, меня. Я работаю больше сорока лет и, когда выступаю в спектакле, всегда волнуюсь. Так волнуюсь, как волновался сорок лет назад, несмотря на то, что все свои роли переиграл сотню раз.



A black and white portrait of a man with dark hair and a mustache, looking slightly to the left. He is wearing a dark, high-collared garment.

А. И. МАШИРОВ-САМОБЫТНИК

## КАК МЫ НАЧИНАЛИ

Литературная биография поэта-правдиста А. И. Маширова-Самобытника началась задолго до Октября. Питерский рабочий-металлист, он вступил в Коммунистическую партию за четыре года до выхода первого номера «Правды», на страницах которой и появились впервые его стихи. Поэт погиб в ленинградскую блокаду в 1943 году. Воспоминания А. И. Маширова-Самобытника публикуются по рукописи Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.

С самого начала своего существования рабочая газета «Правда» становится идейным организатором и на фронте художественной культуры рабочего класса. Она сумела идеологически и организационно собрать вокруг себя распыленные силы пролетарских писателей, воспитать их в большевистском духе, заложить прочные основы самостоятельной и боевой пролетарской художественной литературы. Она сумела указать этим силам пути художественного развития и, наконец, дала возможность практическому выходу их творческих сил на своих газетных страницах.

Отнюдь не теряя своей художественной ценности, пролетарское творчество, а также и творческие кадры рабочих превра-

щались в активных участников общей большевистской партийной работы. Почти все они являлись и организаторами, и пропагандистами, и сборщиками в «железный фонд» газеты «Правда», и рабкорами, и распространителями газеты. Понятно, что все они подвергались царским репрессиям.

«Пусть не говорят рабочие,— писала «Правда» в одной из передовых статей,— что писательство для них непривычная работа: рабочие литераторы не падают готовыми с неба. Они вырабатываются исподволь, в ходе литературной работы. Нужно только смело взяться за дело: раз-два споткнешься, а там и научишься писать...»

Уже в 1912 году объединившиеся рабочие — художники, учащиеся на Пречистенских курсах в Москве,— организовали выставку своих картин. Почин молодых художников-рабочих был горячо поддержан «Правдой», и позднее картины этих художников были показаны в Петербурге на выставке. Такие же кружки рабочих-художников стали возникать и при рабочих клубах Петербурга. В 1913 году по инициативе правдистов, бывших учеников Лиговских вечерних классов (Народный дом Паниной), возникает Первый рабочий театр, во главе которого стояли картонажник Разживин, большевик, безвременно погибший позднее на фронте империалистической войны, и monter Куликов.

«Правда» приветствовала это смелое начинание рабочих, помещала подробные рецензии о спектаклях, которые происходили в Доме просвещения на Обводном. Но охранка скоро поняла значение театра, и по доносу черносотенной газеты «Земщина» он был закрыт, а наиболее активные работники его получили административную высылку. И все же работа правдистов — театральных кружковцев не прекращалась: спектакли начали кочевать по сценам залов Федорова, фон Дервиза, Калашниковской биржи.

Интересно отметить, что самыми любимыми пьесами среди рабочих масс были «Мещане» и «На дне» Горького, миниатюры Чехова, «Власть тьмы» Толстого.

Под влиянием «Правды» организовалась и рабочая художественная эстрада. На площадках рабочих клубов, на массовках и экскурсиях, даже на товарищеских вечеринках появились свои, рабочие декламаторы, чтецы, музыканты, певцы. Причем первые широко черпали материалы из художественного отдела «Правды», другие — из классиков. Особой популярностью пользовались некоторые басни Д. Бедного и стихи пролетарских поэтов.

В свою очередь «Правда» не пропускала ни одной литературной даты и к составлению юбилейных страничек привлекала рабочих поэтов и писателей.

Частенько литературные страницы «Правды» переносились в рабочие клубы и кружки, где сами рабочие одновременно были и докладчиками и чтецами. Особенно большую роль в этом деле сыграл кружок поэтов-правдивистов при тех же Лиговских вечерних классах. Помню, что из среды этих товарищей не менее 10 человек выступало с докладами о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Горьком, Белинском, Толстом, Чехове. Помню, когда рабочие организации по совету «Правды» хотели отметить 60-летие В. Г. Короленко, разрешения не было дано и только нам, для очередного «воскресника», удалось добиться разрешения на чтение одного из рассказов Короленко «Река играет».

Выступить с этим чтением по поручению кружка пришлось мне. Зал был наполнен до отказа. Положив перед собой разрешенный экземпляр рассказа, я успел в течение часа рассказать биографию В. Г. Короленко, познакомить с характером его творчества и провести параллели между народническим и марксистским мировоззрением. Когда дремавший пристав понял наконец, что доклад ничего общего не имеет с разрешенным чтением, и подбежал к трибуне, то был встречен оглушительными аплодисментами докладчику и веселой иронией по своему адресу.

Огромную организаторскую роль сыграла «Правда» в области развития пролетарской художественной литературы. Именно наличие организованного вокруг «Правды» значительного ядра рабочих писателей, поэтов, корреспондентов привело

их к мысли о создании первого объединения писателей и к изданию сборников пролетарской литературы. Особенно эта работа усилилась в связи с возвращением из-за границы А. М. Горького, который, редактируя художественные отделы журналов «Просвещение» и газеты «Правда», сразу же заинтересовался пролетарским литературным движением.

Первая организация пролетарских писателей возникла из литературного кружка при Лиговских вечерних классах, в который входили почти все поэты, сотрудники «Правды». Эта группа успела выпустить два небольших сборника стихов.

Помещение редакции «Правды» было всегда под неусыпным наблюдением царской охранки, но, несмотря на это, тяга рабочих к своей газете была неумалимая. Рабочие-правдисты грудью пробивали себе дорогу в редакцию. Против такого дружного массового наплыва рабочих полиция сделать ничего не могла, и охранка выслеживала лишь наиболее крупных активистов. Бывало, идешь, и вдруг опытный глаз замечает фигуры подозрительных субъектов около самой редакции, плюнешь с досады и сворачиваешь в первый же переулок.

Обычно для посещения «Правды» выбирались наиболее оживленные вечерние часы. В двух небольших комнатах, разделенных деревянными барьерчиками, всегда толпились рабочие, среди которых можно было найти знакомых большевиков почти из всех районов.

Один с гордостью передает боевую большевистскую резолюцию, на которой еще не остыли следы горячей схватки с ликвидаторами и эсерами; другой с озабоченным видом сдает отчет о сборах в «железный фонд» «Правды»; третий хлопочет о помещении «как можно полнее» заметки, разоблачающей махинации дирекции завода; четвертый принес хронику о забастовке с призывом к товарищам «держаться до конца»; пятый пригвозждает к позорному столбу штрейкбрехеров, объявляя им бойкот.

За редакционным столом знакомая грузная фигура Демьяна, склонившегося над правкой своей очередной басни, спокойного

и философски попыхвающего трубкой Еремеева и окруженного всегда группой рабкоров Шидловского. Несмотря на подготовку, чрезвычайно напряженную работу по выпуску нового номера газеты, каждый из сотрудников редакции заботливо и внимательно выслушивал обращавшихся к нему рабочих, и подчас здесь же при них правился и пускался в ход наиболее спешный материал.

Мне как поэту чаще всего приходилось встречаться с Конкордией Николаевной \*. Однажды вздумалось мне принести ей большую рукопись, где я на 20—30 страницах самым отчаянным образом раскатывал ликвидаторов и кадетов. Посмотрев ее внимательно и возвращая статью, она укоризненно произнесла: «Что вы, да это определено на пять номеров конфискации «Правды». Давайте уж лучше стихи, за которые нам также попадает от цензуры...»

Рабочие чувствовали себя в редакции «Правды» не гостями, но хозяевами и помощниками газеты. Опасность общения с «Правдой» только сплачивала рабочих вокруг нее. Эта безграничная и самоотверженная преданность своей газете в свою очередь вливала бодрость в работу сотрудников редакции. И сильная в своей кровной связи с рабочей массой, окруженная их любовью и заботой «Правда» высоко и победоносно подняла большевистское знамя, с которым мы добились победы над капитализмом.

---

\* К. Н. Самойлова, старейший член КПСС, работала с В. И. Лениным.

П. И. ПРОЦЕРОВ

## УЧИТЕЛЬ И ДРУГ

Автор написанных в 1920 году воспоминаний о великом русском естествоиспытателе К. А. Тимирязеве — преподаватель Рязанского института народного образования П. И. Процеров. Воспоминания публикуются по рукописи Государственного архива Рязанской области.



Я познакомился с профессором К. А. Тимирязевым на рубеже двадцатого века. Познакомился не просто как студент со своим профессором, когда студент видит профессора издали, стоящим на кафедре, но несколько ближе. Я разговаривал с ним на темы, подчас лишь косвенно связанные с академическими занятиями, иногда осведомлялся о его взглядах на текущие события студенческой жизни, вносил свои собственные вопросы, изредка спорил и не всегда соглашался.

Это было время, когда все усиливавшаяся политическая реакция достигла, казалось, своего естественного предела и устремила свои злые помыслы на святая святых науки — Московский университет. Уже профессор Ф. Ф. Эрисман был в

Швейцарии, М. М. Ковалевский во Франции, А. И. Чупрову было указано, что его лекции дурно влияют на студентов и т. д. Ходили слухи, и не без основания, что столичные города Европы наперерыв старались приглашать наших профессоров к себе в университеты — профессоров, которых изгоняет свое отечество. И это вселяло в студенчество и горечь обиды, и благоговение к профессуре, и отвращение к правителям. Оставалось немного лиц, в голосе которых студенты чувствовали чистую правду и были готовы следовать за этой правдой и в огонь и в воду. Среди этих немногих лиц выделялся профессор К. А. Тимирязев, автор знаменитого поэтического произведения «Жизнь растений», прочитанного каждым студентом не только естественником, но и других факультетов.

Была известна борьба Петровской академии с реакцией, которая закончилась разгромом академии, причем само название «Петровская академия» было вычеркнуто из русского лексикона. Климент Аркадьевич являлся одним из тех, кто пострадал от этого погрома, и это придавало его персоне еще большую популярность. Его слава как ученого, как автора многих изысканий в области физиологии растений, в частности усвоения солнечной энергии, как, наконец, члена «бессмертных» Кембриджского пантеона составляла гордость тогдашнего студенчества.

Понятно, с каким чувством подходили студенты к аудитории, где должен был читать Климент Аркадьевич. Гром аплодисментов встречал его появление. Я никогда — ни раньше, ни после — не слыхал таких аплодисментов. Нет, это не те аплодисменты, которыми публика встречает своих любимцев. Ни Собинов, ни Шаляпин, ни какой-либо другой артист или оратор не получали таких аплодисментов! В них чувствовалась прежде всего какая-то особая сила, какой-то особый смысл, как будто эта сила хотела сказать: «Мы знаем тебя, профессор, мы солидарны с тобой, готовы следовать твоей правде и в состоянии это делать!» Что-то серьезное и светлое пролетало в душе студентов. Здесь была и радость, и гордость, и вера в торжество научных истин, и, может быть, больше всего именно солидарность.

Я уверен, что в этот момент каждый студент переживал такое чувство, которое окрыляло его в ближайшее время и которое помогало ему позабыть много неприятностей в последующей жизни.

Но что такое? Вместо ожидаемого колосса мы видим среднего роста человека, тоненького, худенького, в профессорском опрятном фраке с золотыми пуговицами, джентльмена с лицом аскета, умные, выразительные глаза которого смотрят куда-то в сторону. Это ли Тимирязев?

Он начинает говорить тихеньким голосом, запинаясь, проглатывая концы фраз, отчего трудно следить за его речью. Целых два часа мы напряженно пытаемся уловить мудрость в его лекции, но едва улавливаем смысл его фраз и расходимся усталые, разочарованные, едва веря, что слышали Тимирязева.

Несколько иное впечатление производит следующая лекция. Мы легче осваиваемся с его речью, привыкаем к ее недостаткам, слушаем так же напряженно, но успеваем схватывать смысл лекции от начала до конца. Дальше слушать легко! Больше обращаешь внимания на смысл и способы выражения мыслей. Производит впечатление убежденность, широта взгляда и даже красота слога. Выступает яркость, выпуклость темы и самая тщательная — «тимирязевская» отделка лекции.

Каждая лекция представляет собой отдельную главу, вполне законченную. В ней все ясно, все понятно, все вытекает одно из другого. Он обильно пересыпает свое мнение мнениями других ученых — приверженцев и противников. О первых говорит тепло, подробно знакомя с процессом творчества ученого. С тем большей силой обрушивается на вторых — своих противников. К ним он беспощаден. Здесь он пускает в ход и силу своих доводов, и тонкую ядовитость своего сарказма, и горячность своего задора. Существенным отличием его лекций было то, что он вел за собой внимание всей аудитории. Своей нервностью он заражал и в нервном напряжении держал аудиторию в течение всей обычно двухчасовой лекции. Если для выражения степени внимания к оратору шутливо говорят: «Муха пролетит — слыш-



но», — то для меня это выражение не было шуткой, а самой чистой реальностью.

Помню, в 1919 году по предложению Рязанского медицинского общества я зашел к Тимирязеву пригласить его в Рязань прочитать лекцию о Дарвине. Он очень благодарил, что бывшие ученики не забывают «его, старика», но отказался поехать, говоря:

— Мне уже под семьдесят лет, я очень волнуюсь на лекциях и потому отказался читать лекции всюду в Москве, желая недолгие годы свои прожить спокойно.

— Разве вы волнуетесь на лекциях, профессор, на лекциях, которые составляют вашу атмосферу? — спросил я.

— Страшно волнуюсь, — ответил он.

Были случаи, когда студенты после лекции в оцепенении не сходили с места. О чем думали они при этом? Полагаю, все об одном: хотелось сделаться лучше, покаяться в своей бездеятельности, хотелось больше знать, «ринуться в бой», чтобы самому приобщиться к науке, самому открывать те горизонты, которые так захватывающе открывались перед нами К. А. Тимирязевым.

К студентам на экзаменах он предъявлял большие требования. Малейшая, на наш взгляд, ошибка приводила его в ужас. Мой довольно хороший ответ был испорчен конечной фразой: крахмал окрашивается от йода в фиолетовый цвет. Надо было сказать: в синий. Тимирязев перевернулся на стуле и стал утверждать, что знаний у меня нет, что невозможно не знать таких важных и общеизвестных реакций. С трудом удалось доказать, что знания у меня есть, и для студента вполне достаточные.

При выпрашивании на экзаменах он интересовался не только тем, выучил ли студент какую-либо книжку, но и любил спросить, не прочитал ли он что-нибудь другое, не справлялся ли в иностранных источниках. Этому последнему обстоятельству он придавал большое значение. Помню, я заинтересовался вопросом о ферментах. Долго говорил с Тимирязевым, и он предложил мне написать об этом сочинение на соискание золотой

медали. Я был польщен таким предложением. Когда мы условились приступить к составлению плана, то выяснилось, что я не только не знаю английского языка, но не знаю даже и французского с немецким. Тимирязев не хотел верить этому, и, когда я должен был подтвердить свое невежество, он сказал:

— Тогда нечего братья не только за эту, но и за какую-то ни было другую работу.

Это было ударом молота по голове. Я решал вопрос, имею ли я право оставаться студентом или должен уйти из университета. После мучительных недель я решил остаться, немедленно приступив к изучению языков.

В то время происходили почти ежегодно студенческие волнения. Студентами решался вопрос, должны ли эти волнения носить академический характер и происходить внутри стен университета или наступило уже время, когда волнения должны вылиться на улицу и носить, следовательно, ярко политический характер. Как известно, было принято второе решение (1899 год).

Все это нервно настраивало студентов, нервничали и профессора, и в одно прекрасное время на страницах «Русских ведомостей» появилось воззвание, в котором профессора убеждали студентов жалеть свои силы для будущей работы, когда студенты принесут больше пользы и т. д. Среди подписей профессоров не было подписи Климента Аркадьевича.

Значительная часть студентов отрицательно отнеслась к возванию и не без удовольствия заметила, что подписи Тимирязева там не было. Некоторые из нас (я в том числе) пошли узнать, случайно ли нет подписи Тимирязева или он намеренно не подписался. Климент Аркадьевич откровенно сказал, что из присутствующих он один был против возвания и не подписался потому, что профессора ничего не могли предложить студентам взамен, не могли даже прекратить вакханалию арестов.

Несколько слов о юбилее Тимирязева.

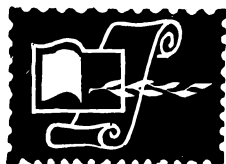
Поздравительные телеграммы сыпались со всех концов мира.

В своей речи он сказал, что юбилейное торжество он считает лучшим временем и местом, чтобы покаяться всенародно в своих прегрешениях. Главной своей заслугой он считал то, что мог всегда сконструировать простенький прибор и на нем доказать то или иное научное положение. В этом случае он столько же физик, сколько и физиолог. Но в работах ему всегда мешало незнание математики. Работа была бы более продуктивной, если бы он владел математикой. И, обращаясь к молодым ученым и студентам, он рекомендовал им учить математику. Большим подспорьем и большой радостью было для него то, что он знал языки. Итак, математика и языки — вот что нужно для естествовника. К этому он приглашал всех тех, кто хотел бы взяться за научную работу.

Верный завету своего учителя и сам искушенный горьким опытом, я приглашаю студентов изучать языки и математику, иначе урезан будет один жизненный путь, едва ли не самый важный — путь к изыскательскому творчеству.

# СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

---





М. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

## ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ТЕЧЕНИЕ РЕК

М. К. Кюхельбекер — младший брат поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера, морской офицер. За участие в восстании 14 декабря 1825 года был приговорен к пяти годам каторги и пожизненной ссылке. Каторгу он отбывал в Нерчинских рудниках, а ссылку в Баргузине.

М. К. Кюхельбекер — автор «Краткого очерка Забайкальского края», составленного им с помощью брата в 1836 году. Рукопись очерка, посланная из Баргузина в Петербург, по назначению не дошла. Ее перехватили жандармы III отделения. Очерк М. К. Кюхельбекера публикуется в сокращенном виде. Подлинник хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР.



Байкалом отсекается обширное пространство земли Иркутской губернии, известное под названием Забайкальского края и включающее в себя уезды Верхнеудинский и Нерчинский.

Байкал величают здесь морем и рассказывают про него разные диковинки, например, что не терпит, когда его кто называет озером, и мстит за такую дерзость бурей; что воды его целебны, особенно от лихорадки и укушения бешеного зверя и проч.

Байкал со всех сторон окружен горами. Оттого большая часть берегов его крута, обрывиста. Низменны они единственно около устьев больших рек, а горы, совершенно раздвоенные только течением Нижней Ангары, во всех других направлениях составляют около него непрерывную цепь то в близком рас-

стоянии, то в несколько в более дальнем. Отроги их ведут и в самый Байкал и образуют полуостров Святой Нос при устье Баргузина и остров Ольхон при северных берегах. Кроме Ольхона, нет замечательных островов. Вообще это озеро заслуживает особого внимания геолога.

Источники рек, впадающих в Амур, Лену и (в русских пределах) в Селенгу, находятся на Яблоновом хребте, составляющем тут разделение вод, и все между собой близки. Это последнее обстоятельство подает надежду, что реки всех систем Забайкальского края могли бы со временем быть связаны если и не посредством каналов, то по крайней мере с помощью коротких волоков. Полагаем, впрочем, что соединение их и первым способом возможно. Дать настоящий ответ на этот вопрос в состоянии только точная барометрическая нивелировка, желательная здесь и в других отношениях. Главное же препятствие то же, что вообще при водяном сообщении в России: продолжительность зимы. Во всяком случае, Восточная Сибирь тут приобрела бы такую систему внутреннего плавания, которая ни в чем не уступала бы даже Североамериканской: Охотское море Амуром и приведенными с ним в прикосновение Витимом и притоками Уды сообщалось бы с одной стороны с Леной, с другой — с Байкалом, а Леной и Нижней Ангарой, впадающей в Енисей, — в двух почти противоположных направлениях с Ледовитым океаном. Губернии Енисейская и Иркутская, города Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Кяхта, Нерчинск и Якутск пользовались бы как между собой, так и с Охотским морем прекраснейшим водяным сообщением, которого средоточием был бы Забайкальский край, а Енисей и Обь, если бы проложить и между ними канал, сблизили бы Восточную Сибирь с Западной.

Боишься вдаваться в мечты, но доказано, что Каму сочетать с водами Тобольской губернии довольно удобно. Итак, плавание из морей Каспийского и Балтийского по рекам и каналам в Восточный океан хотя и переходит за границу сбыточного, однако не за предел же возможного. Излишним считаем обратить внимание читателя на оживление и неисчерпаемые удобства, какие

получили бы в Сибири торговля и общежитие через исполнение хотя меньшей части нашего предположения.

В такой пространной, притом гористой стране, как Забайкальский край, почва, естественно, должна быть очень разнообразна. В долах при реках больших и малых есть богатая наплавная земля, способная ко всякому возделанию. По самым же берегам много болот, могущих со временем обратиться в тучные пажити. На подолах и скатах гор пахотная земля и прекрасные сухие выгоны, преимущественно удобные для овцеводства. Возвышенные степи хоть и не способны для хлебопашества, зато отлично удобны для скотоводства, особенно по частым солонцам и горько-соленым озерам; местами вся даже почва насыщена горькою солью, отчего и среди лета бела, будто покрыта снегом.

Известно, как Нерчинский уезд обилен рудами, преимущественно свинцово-серебряной. Прочие горы мало исследованы, но, верно, заключают в недрах своих великие богатства. Особенно достойна внимания добываемая из них слюда, иногда в огромных листах величиною в аршин и даже более. Есть признаки медной руды. Сверх того, горы должны содержать множество соленых скопов. Около Селенгинска есть солеварня, доставляющая соль отличной доброты, а в Нерчинском уезде — соленое Борзинское озеро. Горькая соленая соль почти везде показывается наружу; в некоторых местах, как уже сказано, озера и болота ею пресыщены. Вдобавок Забайкальский край чрезвычайно богат минеральными водами. Известнейшие Туркинские горячие ключи, во 150 верстах от Баргузина, верстах в полутора от Байкала и в восьми от Туркинской станции, при них устроена больница и есть дом для приезжих, также и врач. Кроме пользующихся на казенный счет здесь бывает довольно посетителей. В окрестностях Баргузина считается до 30 горячих ключей разной силы. При Погроминской станции по дороге из Удинска в Нерчинск есть и кислые воды, а при них также заведение для больных. Подобные же и в 30 верстах от Читы.

Успешному земледелию препятствуют разные естественные причины, которые побороть человек не в силах. Хотя большая



часть Забайкальского края на самом юге Иркутской губернии, но в плодородии уступает некоторым северным ее уездам. Зима по большей его половине бывает бесснежна при жестокой стуже. Оттого в тех местах и затруднительно сеять озимый хлеб и при-нуждены довольствоваться одним почти посевои яровой пшеницы. Урожай их очень неверен и подвержен многим случайностям. Избегая поздних весенних морозов, сеют позже и тем самым жатву подвергают морозам осенним и инеям, застающим хлеб иногда в цвету. Земля, не напитанная влагой от зимнего снега, без обильного дождя не в силах произвести порядочной жатвы.

При горных потоках есть поля, способные к искусственной поливке, и ею умеют хорошо пользоваться. На таких поливных полях урожай отличный, далеко превосходящий лучший в России. Здесь считают порядочную жатвою: озими (ржи) — сам девять и более; ярицы — сам пятнадцать. В изобильный же год уверяют, будто озимь дает сам пятнадцать, а ярица — сам тридцать и даже более. На лето помянутая искусственная поливка производится посредством запруд, канав и борозд, коими вода разводится на значительные площади, иногда с лишком на сто десятин, так что порой смачивает не только нивы, но и покосы. Эту первую поливкой увлажняют землю весной до посева; когда же хлеб укрепнет и начнет трубиться, стараются по возможности повторять ее. На зиму запруживают горные потоки, дабы промерзли до дна; тогда вода выступает из русла и образует обширные массивы льда толщиной на несколько аршин, а в объеме на несколько десятков десятин. О подобном выступлении воды из-под льда говорят: «Речка кипит», самый лед называют «накипнем», незамерзшая же поверх его вода по-здешнему — наледь. Есть и натуральные накипни.

Сеют здесь следующие роды хлеба: яровые — пшеницу, рожь и ячмень простой и гималайский, овес, гречиху; однако последние три — понемногу. Из озимых — одну рожь.

Разведение овощей весьма ограничено. Им занимаются одни женщины. Всякий новый, жителям не известный род они прини-

мают неохотно, утверждая, что по здешнему климату ничего не стоит сеять. Несмотря на это, мы уверились собственным опытом, что овощи при старании могут родиться хорошо и, если бы был сбыт, доставляли бы и порядочную выгоду. Ныне следующие разводятся, хотя и едва достаточно для домашнего прокормления: картофель, репа, капуста, морковь, брюква, свекла, лук, огурцы и табак. Знают также горох, бобы и некоторые другие.

Если климат и почва Забайкальского края не очень благоприятствуют земледелию, в замену обширные луга способны кормить многочисленные стада, а по мелкости выпадающего снега скот даже зимою находит обильный подножный корм. Скотоводство — главная ветвь прокормления бурятов. Места, ими обитаемые, преимущественно могут назваться превосходными пастбищами. Хоринская степь, например, не что иное, как высокая равнина, сама по себе сухая, но орошаемая множеством ручьев; в ней солонцы встречаются только местами и способствуют тучности земли и росту травы, богатой и здоровой. Степь окружена горами, посреди которых много узких долин (по-здешнему — падей), пересекаемых горными потоками и представляющих отличные сенокосы. Безлесные же скаты самих гор в особенности удобны для пастбы овцам. Подобные Большой Хоринской степи есть и другие, меньшие, по берегам рек; а порубежье Нерчинского уезда составляет большею частью безлесную площадь, и там-то хозяева не знают счета своему скоту. Так, например, есть сказание, что будто бы некто Карым, то есть крещеный тунгус, время от времени загонял свое стадо в падь и заключал, что оно все, когда ущелье совершенно наполнялось. Подобное приписывают и некоторым нерчинским казакам. Верно же то, что в тех местах загоняют скот в поскотины, то есть обширные загородки, и по тесноте его в них судят о целостности стада. Эти стада решительно сена не получают.

Коренные жители Забайкальского края — тунгусы. Русские и буряты, расселившись, вытеснили их из большей части прежних обиталищ. Довольно есть тунгусов, принявших образ жизни, подобный бурятскому: они отстали от своих оленей и завелись

стадами скота другого рода. Однако, подражая пришельцам в одежде и нравах, сохранили свой язык и редко мешаются с братьями, чаще — с русскими. От последних немногим отличаются крещенные, которых немало. Еще при Петре I сильное племя тунгусов, названное по начальнику кантимурским, вышло из-за китайской границы. Предводитель за то получил княжеское достоинство. Их, с приставшими к ним от других родов, считается до 6000. Из них набран пятисотенный пограничный Тунгусский казачий полк и управляется русским атаманом. Ныне в простых русских казаках много обедневших князей Кантимуров.

У бурятов свое управление. В каждом племени своя степная дума, или контора; главный начальник — тайша (то, что волостной голова, но с той разницей, что это достоинство наследственное почетное). В больших обществах бывает и по нескольку тайшей, но один всегда старший; главные из них иногда называются, как у тунгусов, шулиньгами. Все эти начальники выбираются обществом, а тайши утверждают правительство. Под их надзором конторы, при которых есть присяжный писарь из русских и толмач, пекутся о делах общественных, судят и рядят по первой инстанции, собирают подати и проч.

Коренная вера бурятов, как и многих сибирских народов, — шаманская. Ныне по Забайкалью распространилась ламайская, но многие еще держатся шаманства, да и те, которые выдают себя за ламут, нередко ему преданы. Где есть ламы, там наружно их очень уважают, но, смело скажем, не любят, потому что они очень корыстолюбивы и, кто их не дарит или не признает их власти, того страшат разными несчастьями, которые иногда и сбываются, по содействию ли их или нет — пусть решают другие. У ламут в здешнем краю довольно кумирен; из них есть и богатые, каменные. Кто не выучился языку, тому трудно добраться до их догматов, притом большая часть сами их не знают, ламы же ничего не расскажут. Богатые буряты всегда стараются иметь между ними кого-нибудь из своих.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

## ПО ТУ СТОРОНУ ШИФРА

До самых последних лет некоторые рукописи Н. Г. Чернышевского не поддавались прочтению. Особый способ записи текста великий русский писатель придумал еще в юные годы. Загадка шифра была разгадана советским литературоведом, членом Коммунистической партии с 1897 года Н. А. Алексеевым, который расшифровал более пяти тысяч ранее неизвестных страниц классика русской литературы, в том числе его студенческое сочинение о поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» и отрывок из магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Подлинный текст публикуемых расшифрованных страниц хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.



## Идея истинно хороша

1. Идея — хороша, можно сказать истинно, но скрывает в себе другую идею, более общую: вообще можно ли оправдать Петра в слишком большой опрометчивости, сказать, что он не щадил и других, как не щадил себя, делал все как можно скорее, не обращая внимания на то, что погодивши немного, мог сделать лучше? Если он выбрал здесь, то стало быть надеялся удержать эти места, а если вообще надеялся иметь здесь перевес общий, то должно было выбрать Ригу или Ревель. Еще другая сторона — здесь виноват не один он; не должно ли предполагать, что если б он более подумал, то выбрал бы и он Ригу

столицею, — следовательно, виноваты его последователи (но это натянуто, потому что общий голос говорит так: основатель — Петр, вина Петра. Поэтому и Пушкин должен был взяться с этой стороны). Наконец, самая общая форма: человек, дающий известное направление делам в видах общего блага, прав ли перед тем, кто терпит от этого направления? В этом самом общем и самом существенном виде нет никакого сомнения в справедливости решения Пушкина.

2. Частности. Характеров нет — это не неудовлетворительно, потому что их и не нужно; а только картины. Картины: а) Петр в думе — вообще он должен был это думать, верна и энергия; б) Теперь Петербург, картины: 1) его общего вида, 2) его внутренней жизни — хороши и верны, но главное достоинство, как и в первой картине, что решительно все чисто черты, характеризующие Петербург, не вообще, а ему собственно принадлежащие (кроме: «и в час пирушки холостой»). Это вступление: вот что сделал Петр. Рассказ: вот что может свидетельствовать против него. Развязка скопляется и высказывается, наконец, — после разрешение.

7 строф — переход от вступления к рассказу естествен. Рассказ: картина первая — ничего особенного об этой сказать нельзя, но вообще скорее можно сказать, что она очень хороша. Евгений — имя; род; противоречие маленькое; плохо.

3. «Стряхнул шинель» и т. д. Дума его очень хороша — действительно, именно такие мысли должно было иметь в его положении (только к чему: «что мог бы Бог ему прибавить ума и денег?»). Эти картины нужны в самом деле. Картина наводнения — особенного я ничего не вижу, хотя вообще обыкновенно хвалят; если в угоду хвалящим находить достоинства, то будет можно сказать, что хорошо 1) народ теснится — это так, особенно в Петербурге из русских городов, и конец «всплыл» очень хорош; очень хорош. Больше я не мог заметить особенного и об этом должно было не здесь говорить, а где о частностях; а нехорошо «затопляла острова», потом «вздучалась и ревела», между тем как верно (не знаю хорошенько) наоборот. Но вторая часть

этой картины, строфа: «осада... по улицам», — кажется, слабовата.

Третья часть этой картины — о царе и генералах — едва ли нужна, только в самом деле, как и отметили, хороши стихи «стояли стогны», и это нужно.

4. Внимание сосредоточивается на Евгении, это так, естественно следует за предыдущим, и связь между ночью и его мечтами, наводнением и этою картиною, движение одного за другим — самое естественное. Часть первая ее, описание его положения, мне кажется, довольно неудачно, неволью как-то рождаются мысли, рождаются при созерцании, неудачно мелодраматически, но вторая часть, где мысль очень хороша и заканчивается хорошо Петром, и это очень эффектно, что он поместил его там, откуда виден Петр; да и естественно было ему тут быть на Сенатской площади, где выход на Исаакиевский мост, потому что он из Коломны действительно должен был броситься на мост, рассудивши, что перевоза нет, и очень хорошо, что ему представляется «забор некрашенный, да ива»: действительно так мыслим мы.

Часть вторая 1) маленькое, если угодно, противоречие; там Нева не виновата, здесь виновата: лишняя картина разбойников; 2 часть — «вода сбыла» очень хорошо, что хорошо; 2) переезд — во-первых, нужно ли? во-вторых, как-то неудачно, 3) как бежит и что видит — очень хорошо; третья картина нужна, потому что prepares к четвертой, заставляет предчувствовать, что найдет он, и мы вполне согласны мыслью с его положением и впечатления на нас так, как на него. 4) Особенно хорошо и очень естественно и без пафоса ложного, что главное. 5) Картина народа — едва ли не общее место; кажется, не нужно было так распространяться; особенно неуместно о Хвостове.

## Искусство и мысль

Итак, первое и общее всем произведениям всех искусств — воссоздание того, что интересно для человека в действительно-

сти, на что он хочет смотреть, о чем он хочет думать, что его радует или печалит. Но интересуясь действительностью, интересуясь жизнью, человек не может не произносить о ней своего приговора — и поэт или художник не может, если б и хотел, отказать от этого. И приговор его о действительности необходимо выражается в его произведении — вот двойное значение произведений искусства.

Бывают люди, у которых этот приговор состоит только в том, что они обнаруживают привязанность к известным явлениям жизни и не любят, избегают других сторон ее. Это люди, у которых умственная деятельность от природы слаба или по случайным обстоятельствам мало развита наукою и размышлением. Бывают исторические эпохи, когда подобная слабость овладевает всем народом. В этом случае произведения искусства не имеют другой цели, кроме воспроизведения любимых сторон жизни.

Но есть люди, в которых умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни. И если такой человек одарен художническим талантом, то в его произведениях сознательно или бессознательно выражается стремление произнести свой приговор об интересующих его явлениях жизни, предложить или разрешить вопросы, возникающие для мыслителя из жизни. И его произведения будут названы сочинениями на тему, которая предлагается ему явлениями жизни и его личностью. Одним словом, есть произведения искусства, в которых просто воспроизводятся явления жизни, интересующие человека, и есть другие произведения, в которых эта картина жизни проникается определенной мыслью. Последнее направление может находить себе выражение во всех искусствах, — например, в живописи (карикатуры Гогарта), но существенно развивается оно в поэзии, потому что поэзия предоставляет полнейшую возможность выразить определенную мысль и в таком случае не только воспроизводит жизнь, но объясняет ее — из летописца поэт становится историком.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

## СЕБЕ И ЛЮДЯМ

Замечательный русский историк В. О. Ключевский любил острое слово, шутку. Он и сам был неистощимым автором множества блестящих афоризмов. Записная книжка ученого, из которой публикуются его афоризмы, хранится в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР.



Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т. е. умение пользоваться знанием как следует.

Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую.

Мудрено пишут только о том, чего не понимают.

Развивая мысль в речи, надо сперва схему ее вложить в ум слушателя, потом в наглядном сравнении предъявить ее воображению и, наконец, на мягкой лирической подкладке осторожно положить ее на слушающее сердце, и тогда слушатель — ваш военнопленный и сам не убежит от вас, даже когда



вы отпустите его на волю, останется вечно послушным вашим клиентом.

Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий.

Разница между консерваторами и либералами: у первых слова хуже мыслей, у вторых мысли хуже слов, то есть первые не хотят хорошенько сказать, что думают, а вторые не умеют понять, что говорят.

Некоторые думают, что стоит только обозвать всех дураками, чтобы прослыть умным.

Декадентство — это искусство, утратившее эстетическое чутье, но сохранившее свою технику. Это творчество без идеала, как толстовщина — религия без бога.

Писатель — не сочинитель: первый пишет, чтобы изложить свои мысли; второй сочиняет мысли, чтобы что-нибудь написать.

Высшая задача таланта — своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни.

Талант — искра божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим собственным пожаром путь другим.

Самый веселый смех — это смеяться над теми, кто смеется над тобой.

Женская любовь — дар, который получает цену, только когда перестает быть подарком.

Ученая диссертация, имеющая двух оппонентов и ни одного читателя.

Красивые женщины в старости бывают очень глупы только потому, что в молодости были очень красивы.

Бездарные люди — обыкновенно самые требовательные критики: не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что как делается, они требуют от других совсем невозможного.

Вера в жизнь посмертную — тяжелый налог на людей, которые не умеют дожить и до смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть.

Под старость глаза перемещаются со лба на затылок: начинаешь смотреть назад и ничего не видеть впереди, то есть живешь воспоминаниями, а не надеждами.

Театральный зритель есть человек, купивший себе в кассе право требовать, чтобы его одурачили, заставили мираж принять за действительность.

Есть мужчины, которые тем больше нравятся, чем лучше их понимаешь, и есть женщины, которых тем лучше понимаешь, чем больше они нравятся.

Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбегу, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения.

Злой дурак злится на других за собственную глупость.

Всякий дурной поступок носит в себе кнут для спины своего виновника.

Старость для человека, что пыль для платья — выводит наружу все пятна характера.

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь.

Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает.

Одни вечно больны только потому, что очень заботятся быть здоровыми, а другие здоровы только потому, что не боятся быть больными.

Художник — это зеркало, которым дорожат только потому, что оно дает зрителям возможность любоваться самими собой.

Обыкновенно женятся на надеждах, выходят замуж за обещания. А так как исполнить свое обещание гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то чаще приходится встречать разочарованных мужей, чем обманутых жен.

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.

Кто очень любит себя, того не любят другие, потому что из деликатности не хотят быть его соперниками.

Чтобы быть ясным, оратор должен быть откровенным.

Говоря публично, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму слушателей, а говорите так, чтобы они, слушая вас, не слышали ваших слов, а видели ваш предмет и чувствовали ваш момент; воображение и сердце слушателей без вас и лучше вас сладят с их умом.

Профессор перед студентами — ученый, перед публикой — художник. Если он ученый, но не художник, читай только студентам; если он художник, но не профессор, читай где хочешь, только не студентам.

Блестящее перо и светлая мысль не одно и то же.

В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в морали надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их.

Романистов часто называют психологами. Но у них разные дела. Романист, изображая чужие души, рисует свою; психолог, наблюдая свою душу, думает, что он изучает чужие. Один похож

на человека, который видит во сне самого себя, другой на человека, который подслушивает шум в чужих ушах.

Часто бранят сочинение писателя только потому, что сами не умеют написать так.

Красота хороша, только когда она сама себя не замечает, талант приятен, когда себя не сознает.

Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров.

В чем драматизм Гамлета? Трудно действовать, как следует, но еще труднее воздержаться от действия, которое не следует.

Самый непобедимый человек — это тот, кому не страшно быть глупым.

Часто встречаются люди, которые любят говорить о том, чего не понимают, как иные не чувствуют запаха того, что нюхают. Это очень жаль, хотя и очень просто: это значит, что есть люди, у которых язык длиннее их ума, как есть люди, у которых нос длиннее их обоняния.

Люди, которые легко говорят, обыкновенно трудно понимают.

Быть счастливым — значит быть умным. Быть умным — значит не спрашивать, на что нельзя ответить. Потому быть счастливым — значит не желать того, чего нельзя получить.

Надобно не жаловаться на то, что мало умных людей, а благодарить бога за то, что есть они.

Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства.

Глупость не в привычке болтать глупости, а в убеждении, что другие считают их умными вещами.

Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно одуреть, даже от собственного ума.

Первый злейший враг красивой женщины — это ее зеркало, потом ее враги — ее уши: первый губит ее ум, вторые — ее сердце.

Люди, которые, не имея своего ума, умеют ценить чужой, часто поступают умнее умных, лишенных этого умения.

Глупые люди любят самые умные игры.

Всякий счастлив в меру своей способности к счастью и своей потребности в счастье.

Что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до последней степени, когда они готовы разорваться.

Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья.

Они всматривались в глубину житейского моря, чтобы в ней разглядеть истину, и, конечно, видели там только свои собственные физиономии.

Есть люди, в которых самые пороки милее и безвреднее, чем у иных добродетели.

Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля.

Сладкая болезнь только у горьких пьяниц.

Когда у мыслителей быстро вертится мысль, у немыслящей публики кружится голова.

Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить им о себе.

Простейший способ не нуждаться в деньгах — не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

## БЫТЬ СОВРЕМЕННОКОМ ВЕЛИКИХ ДЕЛ

Доклад «О задачах советской драматургии» А. В. Луначарский прочитал на 2-м пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 12 февраля 1933 года. Публикуемый конспект этого доклада хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.



Драматургия представляет собой одну из важнейших форм литературы. В период борьбы за самоутверждение социализма все искусство имеет одни и те же общие задачи; драматургия разрешает их в своем плане, воздействуя непосредственно на массы зрителей через театр.

Общие задачи искусства в эпоху борющегося социализма, в эпоху строительства самих его основ совершенно очевидны. Прежде всего искусство является силой, сотрудничающей в общей борьбе и строительстве. Оно несет глубокую ориентировочную службу. Оно должно своими средствами, то есть языком образов, давать правдивое и глубокое изображение действительности, помогающее ее познанию и ее оценке. Однако социали-

стическое искусство не ограничивается своеобразной познавательной задачей. Оно имеет также задачи формирующие. Сюда относится воспитание нового человека, организация его чувств посредством воли, сюда относится также дезорганизация врага (пример — разрушительная сила смеха). Все эти задачи объемлются термином «социалистический реализм», который полностью покрывает собой все формы идеологического искусства, стало быть, и литературы, в частности драматургии.

Реализмом называется такое направление в искусстве, которое, признавая действительность за свой объект, дает ее отображение, пользуясь для этого сочетанием ее элементов в рамках, встречающихся в реальной действительности. Целью реализма является достижение художественной правды — особенно убедительного, яркого воспроизведения окружающей нас среды и самого человека.

Реализм является основным стилем классов, приемлющих бытие, классов жизнеутверждающих. Таким классом в лучшую свою эпоху была буржуазия. Именно победоносная буржуазия в пору наибольшей прочности ее позиций (когда ее господство еще не стало под угрозу нового врага снизу) развернула чрезвычайно интересные формы реалистического искусства. Реализм этот, однако, ограничивался утверждением действительности как она есть, в ее статике, и прославлением ее.

Не вся буржуазия находилась в состоянии удовлетворения, Мелкая буржуазия весьма легко переходила в оппозицию захватившей власть и устроившейся части своего класса. Так как именно из мелкой буржуазии черпались главным образом художники, в частности писатели, то буржуазный реализм под влиянием этих слоев принимал новый характер — реализма оппозиционного. Так возник натурализм, изображавший действительность (особенно социальную), вовсе не благословляя ее, а напротив, с тайной целью — под видом почти научно точного описания показать ее глубокое несовершенство. Не имея, однако, перед собой никакого практического идеала, натурализм был,

так сказать, реализмом со знаком отрицания, но столь же статическим, как и положительный реализм.

Глубокое недовольство действительностью, разлад с нею гнали мелкую буржуазию дальше, за пределы реализма, в область романтики. Мы имеем очень много разновидностей мелкобуржуазной романтики. Всем им присуща иллюзорность, стремление подменить действительность чем-то совершенно отличным от нее и якобы более ценным.

Социалистический реализм резко противоположен реализму буржуазному. Он насквозь активен. Он рассматривает действительность не как статическое бытие, а как развитие. В этом развитии он усматривает борьбу классов. Он страстно становится на точку зрения пролетариата в его борьбе с господствующими классами.

Социалистический реализм в лице своих художников может не сознавать полностью собственного своего диалектико-материалистического характера: этот характер может быть присущ отдельным социалистическим реалистам — бессознательно, но он необходимо присущ, в той или другой мере, ибо социалистическая правда есть правда, взятая в развитии, в борьбе, в своих определенных стремлениях, под углом зрения определенных, именно пролетарских целей.

Социалистический реализм до полного осуществления коммунистического строя не может быть только оптимистическим, не может попросту благословлять всю жизнь, ибо он видит ее зло и борется с ним. Но он не может быть также пессимистическим, ибо он знает, что течение социального процесса идет в сторону того, что он признает благом, он знает пути борьбы за это благо.

Романтизм, в смысле разрыва с действительностью и ее тенденций, для социалистического реалиста немислим, так как он живет как раз в глубочайшем согласии с этой действительностью. Реалист абсолютно не нуждается в каких бы то ни было иллюзиях. Следует ли из этого, что социалистический реализм не включает в себя необходимости форм, имеющих романтический характер?



Если исходить из того определения реализма, которое нами выше дано, вопрос можно поставить и так: должен ли социалистический реализм всегда во всех произведениях держаться рамок правдоподобия? Такое сужение рамок социалистического реализма было бы незаконмерно.

Социалистический реалист находится в полном согласии со средой, тенденциями ее развития как борец за осуществляющийся завтрашний день. Но он не принимает действительность как она есть. Он принимает ее такой, какой она становится. Отсюда и вытекает диктуемая его положением борца потребность стилизовать действительность в ее художественном отображении — в целях ее реального пересоздания. Стремясь, например, синтезировать гигантские коллективные силы своего класса в монументальные образы, социалистический реалист не обязан держаться рамок реализма в смысле правдоподобия. Создание образа пролетарского Прометея несколько не является плодом жажды иллюзии, а лишь плодом жажды художественного воплощения безмерных сил, которые невозможно превратить в конкретный образ, пользуясь реальной человеческой личностью. Так же точно в своей борьбе с отрицательными явлениями социалистический реалист, конечно, может прибегать ко всякого рода гиперболам, карикатурам, совершенно невероятным сопоставлениям — не для того, чтобы скрыть действительность, а для того, чтобы путем стилизации раскрыть ее.

Плох тот коммунист, который лишен способности мечтать. Мечта коммуниста не есть отлет от земного, а полет в будущее. Коммунизму не должны быть чужды яркие, образные догадки о будущем (Чернышевский «Что делать?»). Здесь также большое место должно быть уделено смелой фантазии.

Наконец, в социалистический реализм входит также элемент лирики автора, не столько личной, сколько отражающей коллективный субъект его класса. Эта лирика должна в особенности выражаться в патетической проповеди, в ораторском обращении к массам. Именно пламенность пафоса такой лирики роднит ее с романтикой, поскольку она зовет к активной борьбе с действи-

тельностью. Она не имеет ничего общего с донкихотской романтикой классов и групп, оторвавшихся от действительности, но она есть чистейшее выражение не только познания действительности, но и социалистического преодоления ее.

Из всех видов литературы драматургия для настоящего времени является особенно важной. Во все времена мощного выступления новых классов и групп идеологи их устремлялись к театру, как к трибуне огромной силы. Строя наш литературный фронт как часть общего фронта нашей борьбы и созидательной работы, мы не можем не констатировать, что драматургия превращается через сцену в искусство огромной наглядности, интенсивной эмоциональной эффективности, в искусство, творимое коллективно и воздействующее на живой коллектив — публику.

Драматургическое искусство — совершенно бессознательно, конечно,— является всегда наиболее диалектическим, потому что оно дает непосредственное действие, развивающееся через конфликты. Социалистический реалист обязан выбирать изображение такого действия, которое может иметь значение в познавательной или формирующейся (воспитывающей) работе нашего класса. Чем более сознателен социалистический драматург, тем более будет для него ясным, что все конфликты, которые он будет изображать, происходят ли они между отдельными действующими лицами или «в груди» такого или другого персонажа, на самом деле являются конфликтами классового характера. Соединить глубокую живость и естественность изображения и конфликтов с не менее глубоким художественным уяснением их социально-исторического значения есть та задача социалистического драматурга, которую ставит перед ним Энгельс.

Хотя разграничивание жанров не должно стеснять творчество социалистического драматурга, но нельзя не указать, что в советской драматургии возможны и необходимы и трагедия, и комедия, и, может быть, бытовая драма. Трагедия обнимет собой главным образом жертвенную плодотворную гибель предшественников социализма, а также, согласно замечанию Маркса, «муки рождения нового мира».

Комедия может быть юмористической, направленной на исправление недостатков нашего класса и его союзников, или разрушительно-саркастической, направленной на наших классовых врагов.

Бытовая драма, за которую так держалась буржуазия, вряд ли возможна в социалистической драматургии без уклона либо в комедию, либо в трагедию. Простое изображение «жили-были» вряд ли может быть отнесено к социалистическому реализму.

Драматургия как общественное явление в жизни Советского Союза представляет собой определенное усилие мысли и образного творчества, направленное на сотрудничество со всей гигантской борьбой пролетариата и его строительством. Этой цели должен быть подчинен в первую голову и театр. Поэтому деятели сцены, в этом общем смысле, должны разрабатывать технику сценического воплощения в глубоком согласии с социальной тенденцией и драматургией. Из этого не следует, конечно, чтобы драматург не изучал своего основного инструмента — сцены и чтобы сценический деятель был лишен инициативы.

Всякому известно, что театр действует не только своей правдивостью. Даже правдивейший театр в известной мере условен. Но театральные условности являются в свою очередь огромной силой. Ни в коем случае театр социалистического реализма не должен по-толстовски стараться во что бы то ни стало держаться в рамках обыденного правдоподобия. Музыкальная драма, опера, музыкальная комедия и оперетта, феерии, включающие в себя монументальные картины,— все это полностью должно стоять к услугам театра социалистического реализма. Великие театральные народные празднества будут, наверно, переклестывать за всякое правдоподобие и искать в монументальных синтетических образах отражения социальных сил революции.

Хотя в нашем климате театральное здание является необходимостью, мы не должны забывать возможностей развития театра под открытым небом, весьма отвечающего коллективистическому характеру нашей эпохи. Не только профессиональ-

ный театр является проводником, доводящим драматургию до публики. Колоссально важной, в количественном и качественном отношении, посредствующей средой является также наш широко развернувшийся самодеятельный театр.

Таковы общие задачи социалистической драматургии в нашу эпоху. Будучи чутким бойцом на социалистическом фронте, драматург должен всегда отмечать наиболее боевые задачи дня. Без излишней торопливости, не отказываясь от продуманного и длительного творчества, он должен, тем не менее, стараться быть в полном смысле современником наших великих дней. Непосредственно для нашего времени на первый план выдвигаются темы борьбы с внешнебуржуазным миром: мир советский и мир буржуазный. Сюда в первую голову относятся задачи нашей обороны в самом широком смысле слова.

Борьба за коллективистическую деревню, борьба с рассеянным в ней лукавым врагом, борьба с вредоносным духом собственности за великие начала преданного уважения к растущей социалистической собственности, освещение борьбы за науку и технику, постоянное наблюдение за ростом социалистического человека и встречающимися на этом пути препятствиями и болезнями — вот те основные задачи, которым, как мы думаем, в первую очередь должны посвятить свои силы социалистические драматурги.



Н. Ф. ПОГОДИН

## НЕПОВТОРИМОЕ ЧУВСТВО УДИВЛЕНИЯ

Н. Ф. Погодин — выдающийся советский драматург, Лауреат Ленинской премии. Его первая пьеса о Владимире Ильиче Ленине с триумфом обошла театры нашей страны и многих стран мира. С огромной впечатляющей силой и глубиной образ Ильича воссоздан драматургом в пьесах «Кремлевские куранты» и «Третья патетическая». Стенограмма публикуемого выступления Н. Ф. Погодина в 1939 году на творческой конференции, посвященной ленинскому образу в драматургии, хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.

Было бы большой и непростительной самонадеянностью утверждать, что в нашем искусстве создан образ Владимира Ильича Ленина. А между тем у нас иногда говорят об образе Ленина, как о чем-то завершенном, уже отлившемся в ясные и простые формы. Но, по существу, мы только поставили перед собой эту важную задачу, не больше. На этот счет не должно быть двух мнений.

С другой стороны, не следует принижать усилий нашего искусства — в дальнейшем речь пойдет только о театре, — взявшего на себя смелый и благородный труд создать этот гигантский образ.

Каждый, кто работал над ленинскими спектаклями, очевид-

но, знает это неповторимое чувство удивления, трепета и страха — да, и страха — перед своей ролью. Страх — не всегда трусость. Страх перед величием задачи — отнюдь не трусость. Мне лично вообще не верилось, что можно что-нибудь сделать. Я знаю актеров, которые приходили в смятение от собственного грима. В одном театре реквизиторша, увидавши впервые артиста, работающего над образом Ленина, в гриме, разрыдалась.

У нас было мало опыта. По-моему, очень мало его и теперь, хотя мы и собираем конференции исполнителей и постановщиков. Значение таких конференций огромное, но посудите сами, как велики задачи. То немногое и слабое, что сделано, естественно, не пропадает даром. Следует продолжать серьезно и вдумчиво делиться опытом.

Трудно и еще в точности не известно, как передать в сценическом произведении язык Ленина. Известно, что речь Ленина неповторима, но какова она? Этого никто рассказать не может. Да и можно ли вообще «рассказать» чужую речь? По-моему, ее можно повторить, воспроизвести, но описать, как мы описываем человеческое лицо, характер, привычки, нельзя. Есть путь, который нам кажется прямым и самым надежным в передаче ленинского языка, — это речи, письма, статьи самого Ленина.

— Чего же мудрить, — может рассудить писатель, — если перед нами столь богатый документальный, точно установленный первоисточник?

Более того, перед нами неисчерпаемая сокровищница ленинской мысли. Вы можете брать целые фразы или периоды для своих реплик. Вам даны монологи и острые замечания для диалогов. Перед вами океан.

И что же пока у нас получилось? Цитаты!

Мы разыскивали нужные нам по теме слова и добросовестно переписывали их в наши черновые тетради, а потом переносили в текст пьесы и давали их говорить актерам.

Разве плохо повторить со сцены подлинный ленинский текст? Нет, не плохо. Разве это неправда, что Ленин именно

так, а никак иначе сказал? Тоже правда. Но отчего же зрительный зал чувствует, что это цитата, почему разрушается в этом случае впечатление подлинно художественного образа?

Мы забыли одну весьма важную вещь. Наш зритель в большинстве своем прекрасно знает и помнит сочинения Ленина. И когда в драматическом произведении он начинает узнавать знакомые места из сочинений Владимира Ильича, то как же он примет это драматическое произведение?

Увы, здесь происходит странное на первый взгляд явление, когда документальная достоверность по многим серьезным причинам превращается в свою противоположность. Явление это вполне естественное и закономерное, поскольку мы имеем дело с художественным образом.

Позвольте показать некоторые из этих причин.

Для зрителя сценический образ В. И. Ленина — это отнюдь не Ленин. Пусть явится гениальный актер и даст потрясающий образ нашего вождя — все равно зритель носит в себе образ своего Ленина. И когда сценический образ подкрепляется подлинными ленинскими цитатами, то у зрителя получается впечатление, что Ленин говорит собственными цитатами, заимствованными из своих же текстов, которые зритель знал и помимо театра.

Уместная, удачная цитата оттого и есть цитата, что ее выбирают из контекста с целью доказательства, подкрепления, неопровержимости выдвигаемого положения. Цитатой можно пользоваться и в художественной живой речи, и пользоваться успешно — однако в отдельных случаях, в некоторые моменты. Вот один из примеров: действующее лицо заявит своему партнеру:

— И вот Ленин сказал...— и приведет цитату.

Это может быть уместно и удачно.

Но вот перед вами идет сценическое действие, и вы слышите знакомые слова, которые в действительности были сказаны при других обстоятельствах и по другому поводу. Только ци-

таты. Становится неловко. Вы начинаете подозревать автора в художественной беспомощности.

Главная беда тут заключается в том, что слова, сказанные при других обстоятельствах и по другому поводу, «вмонтированные» в сценический диалог, звучат натяжкой, или, как говорят в школах, чужими словами.

В. И. Ленин, как известно, не раз заявлял, что стенограммы не передают правильно того, что он говорил. Стенограмма регистрировала слова. Но стенограмма не регистрировала знаменитых ленинских интонаций, юмора, насмешки, презрения. Стенограмма не дает понятия о ленинском гневе, когда простые русские слова потрясали людей. А мимика, а жест... Мне думается, что цитата, несмотря на свою документальность, не дает возможности драматургу и актеру передать в драматической, в сценической форме существо образа Владимира Ильича Ленина.

Я отнюдь не собираюсь предлагать здесь каких-нибудь канонов. Вероятно, цитаты могут быть уместны и даже необходимы. Есть исторические факты, о которых нельзя сказать иначе, чем об этом сказал сам Ленин. Есть известные ленинские выступления, которые нельзя передать своими словами.

И самое главное, мне кажется, в следующем.

Без глубокого знания сочинений В. И. Ленина ни писать, ни играть Ленина невозможно. Я говорю о глубоком документальном знании первоисточника. И чем больше мы будем знать прекрасных ленинских работ, тем лучше. Но надо представить себе, что в жизни, пусть это будет беседа с друзьями в домашней обстановке или официальное заседание, Ленин излагал свои мысли обыкновенным жизненным языком, отнюдь не заботясь о том, чтобы его слова звучали, как цитаты и изречения. Значит, по моему мнению, надо взять необходимое количество ленинских текстов, нужных для создания вашего произведения с его диалогами и монологами, и переработать эти тексты в живую речь, чтобы не было противоречия между драматической ситуацией, которую вы, художники, создали, обрисовали, и словами, языком героев вашего произведения.



Тут дело стало за талантом, умением, знаниями, серьезностью автора. Создать живую ленинскую речь — это очень много. Тут необходимо говорить о характере, ибо человеческое слово в сценическом выражении прежде всего идет от характера образа.

Мы пока что прошли первый период ученических работ о В. И. Ленине. Образ его в театрах будет создаваться коллективным трудом писателей и актеров. Только не надо топтаться на месте, ограничиваться повторением пройденного, а, используя добытое, найденное, спешить с новыми решениями этой прекрасной и грандиозной задачи.

М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ

## СВЯТОЕ ДЕЛО СВОБОДЫ

Декабрист М. И. Муравьев-Апостол сражался под Бородиным, получил ранение под Кульмом, участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол — один из основателей Союза спасения, видный деятель Южного общества, участник восстания Черниговского полка, возглавленного его братом Сергеем.

— Мы были дети 1812 года, — говорил М. И. Муравьев-Апостол. — Принести в жертву все, даже самую жизнь ради любви к Отечеству, было сердечным побуждением нашим.

Подлинники публикуемых в отрывках писем М. И. Муравьева-Апостола хранятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР и Государственном Историческом музее.



**М. И. Бибикову**

*16 марта 1863 г.*

Завтра 50 лет Кульмскому делу. Весь божий день 1-я гвардейская удерживала напор корпуса Вандама, 40 тысяч человек. Чем кончили принимавшие участие в славных событиях 1812, 1813 и 1814 гг.? Что ни было лучшего между тогдашней молодежью, кончило жизнь на эшафоте или в ссылке.

*15 декабря 1863 г.*

Неприятно мне было встретить много лести... к великим сего мира и отъявленную несправедливость к Михаилу Ларионовичу,

которому мы должны были быть благодарны за то, что он был русский, над которым общее мнение резко высказывалось у нас. Александр I ненавидел его, как все русское: за это одно следовало бы упомянуть, что Михаил Ларионович пред вступлением своим в начальствование русских войск, во-первых, кончил войну с Турцией, кстати, и успешно, во-вторых, заключил самый выгодный мир для России при тогдашних обстоятельствах. Я служил в рядах, видел и слышал радость и осуждения наших солдат, когда сподвижник нашего Суворова подъезжал к полкам. Взятие Москвы даже не могло поколебать солдатских чувств.

*28 сентября 1864 г.*

Пред войной 1812 года Ростопчин дал значительную сумму денег Сергею Николаевичу Глинке, брату Федора Николаевича, с тем, чтобы он возбуждал своими статьями патриотические чувства. Сергей Николаевич был набатом; вдобавок, он раздавал все, что имел, бедным; когда не случалось у него денег, он отдавал свою одежду. Жена рассказывает, что не раз он возвращался домой едва-едва прикрытый. В начале 1813 года Сергей Николаевич возвратил Ростопчину все переданные ему деньги, говоря, что они были не нужны, когда всякая русская душа готова была всем жертвовать для спасения Родины...

*9 ноября 1865 г.*

Одному А. П. Ермолову Россия обязана Кульмским делом... После неудачи, претерпенной главными союзными силами перед Дрезденом, нам приказано было идти на соединение с ними. Когда дивизия дошла до дороги, ведущей из Пирмы в Теплиц, прискакал адъютант Дибича с приказом спешным ходом идти на Диппольдисвальде. Алексей Петрович изъяснил Остерману нелепость подобного приказания. Разговор этот происходил перед фрунтом 2-го батальона нашего, поэтому мы его слышали. Алексей Петрович, разумеется из шутки, стал уверять дурно говорившего по-русски адъютанта Дибича, что, верно, он не

понял данное ему приказание. Адъютант второпях стал шарить в карманах своих широких, из которых не без некоторых усилий добыл испачканный лоскуток бумаги, говоря, показывал его Алексею Петровичу, что диспозиция писана рукой самого Дибича. Тут же П. Я. Чаадаев был послан, чтобы уведомить, что мы пойдем на Теплиц. У П. Я. Чаадаева была под верхом хорошая лошадь. При въезде в теснины Богемских гор наш 3-й батальон вступил в дело. Он лишился многих офицеров и солдат. В числе раненых был брат Н. Д. Шаховской. Только что наш 3-й батальон присоединился к нам, 2-й наш батальон, в котором я находился, был послан выбить неприятеля из деревни Номндорф. Он не взбирался на скалистые горы, как пишет Богданович\*, а штыками овладел деревней... Сколько подробностей приходит мне на память о 16 и 17 августа 1813 года!

**А. П. Созонович**

*11 мая 1876 г.*

После сдачи Москвы мы провели недель шесть в Тарутинском лагере в Калужской губернии. Наполеон при пожаре Москвы, поняв, что поставил себя в крайне опасное положение, предложил Михаилу Ларионовичу Кутузову заключить мир. Михаил Ларионович, который молил только об одном, чтобы Наполеон пробыл дольше в Москве, принял предложение с видным удовольствием. Несколько раз лагерные огни внезапно гасли. Лористон, бывший французским посланником при нашем дворе, приезжал в Леташевку, деревню, которая находилась пред нашим лагерем в пребывание Михаила Ларионовича, который так мастерски вел переговоры о мире, что не только врага, и нас он провел... Перемирие не было заключено. В промежутках переговоров у нас соблюдали военный порядок. Неприятель

---

\* М. И. Богданович — военный историк. *Прим. ред.*

в уверенности о непогрешимости Наполеона стоял против нас спустя рукава. Мы неожиданно напали на неприятельский авангард, прогнали Мюрата, взяли 36 пушек, возвратились торжествуя в Тарутинский, не жалея больше о замирении с врагами. Французские генералы, чиновники позначительнее, прибыли в Россию со своими женами, детьми; дети, попавши в плен, из каретных окошек смотрели на нас, точно как в парижских гуляниях. Михаил Ларионович поручил семейному нашему штаб-офицеру отвезти этих бедных детей в Петербург. Они, вероятно, возвратились во Францию прежде самих родителей, которым предстоял страшно бедственный для неприятеля поход 1812 года.

16 августа 1876 г.

Я отказался от чтения французских газет. Они осуждали Сербию, Черногорию за то, что объявили войну туркам. Чем все это кончится, я уверен, как в 1812 году, что святое дело свободы и человечности восторжествует!

Последние слова манифеста первого Наполеона в 1812 году для объявления войны России были: «Россию влечет рок, ее судьба должна совершиться». Он пал, Россия освободила Европу от замшелости обезумевшего честолюбца.

15 февраля 1877 г.

В 1812 году при князе Смоленском был важный английский агент генерал Вильсон, который надоедал нашему славному главнокомандующему с своими неотвязными советами настойчивее преследовать врага, которого сам бог преследовал. Выведенный из терпения Михаил Ларионович заметил англичанину: когда не станет Наполеона, выгодна ли будет России замена его Англиею? Это было сказано ровно 62 года тому назад\*.

Можно ли себе представить что-нибудь отвратительнее ны-

---

\* Автор письма ошибся в датировке описываемого события, которое произошло на три года ранее. *Прим. ред.*

нешней английской политики? Болгарские прошлогодние ужасы нипочем ей, лишь бы ей продать лишний аршин коленкора. Зато как наша Россия хороша, умилительна своим заступничеством за угнетенных братьев!

19 мая 1877 г.

Сражение под Смоленском продолжалось три дня; оно окончилось 6 ноября поражением маршала Нея. 6-го ноября 1812 года в четвертом часу пополудни князь Кутузов подъехал на коне к бивакам 3-го батальона Семеновского полка; его сопровождали кавалеристы, которые держали отбитые знамена, штандарты, маршальский жезл — трофей Финляндского гвардейского полка. Поздоровавшись с нами, князь Кутузов сказал кавалеристам: «Они еще подняли нос перед моими ребятами, пусть опустят нос перед ними!» Кавалеристы наклонили древки знамен. Указав на полотно французского орла, князь Кутузов сказал: «Вот и несчастный Остерлиц, в котором пред богом я не виноват. Прошлого года (1811) я заставил войско великого визиря есть конину, нынешнего — заставляю наших незваных гостей питаться дохлыми лошадьми. Положение их ужасное: голод, холод; право, жаль их.— Но тут князь Кутузов промолвил русское крепкое словцо, солдаты были в восторге.— Кто их просил приходить к нам? Вам предстоит, ребята, труды, лишения; я знаю, что вы их перенесете молодцами, ведь каждый наш шаг вперед очищает нашу родную землю от вражьего нашествия».

Александр Александрович Писарев, наш батальонный командир, пригласил князя Кутузова пить чай. Князь Кутузов слез с лошади, кавалеристы последовали его примеру. Князь Кутузов вошел в балаган А. А. Писарева, кавалеристы прислонили отбитые знамена к ружьям, стоящим в козлах. Во время чаепития Василий Андреевич Жуковский прочел вслух только что полученную басню Ивана Андреевича Крылова: «Волк во псарне». При чтении стиха «Ты сер, а я, брат, сед» князь Кутузов обнажил голову.

Во время нашей стоянки в Тарутинском лагере поручик нашей 9-й роты Александр Васильевич Чичерин, предвидя зимний поход, соорудил себе две палатки самого малого размера. Палатки возились на вьючной лошади Чичерина. Одна палатка была холщовая, другая из толстой фланели. Холщовая становилась над фланелевой. Солдаты наши умудрились сделать в земле печку, которой палатки отапливались. Под Малоярославцем начались морозы, они были жестоки. А. В. Чичерин просил А. А. Писарева предложить в свою палатку князя Кутузова. Князь Кутузов провел в палатке Чичерина ту знаменитую ночь, в продолжение которой Малоярославец переходил шесть раз из наших рук в неприятельские руки. В память этой ночи князь Кутузов удостоил своим посещением 3-й батальон покойного Семеновского на его биваках 6-го ноября под Красным.

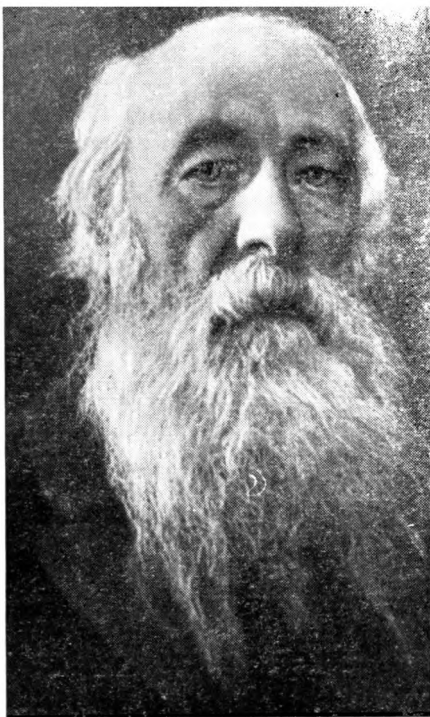
Нескладный мой рассказ, удостоверяю тебя, исторически достоверен.

В. В. СТАСОВ

## ВЕЧНО ИДТИ НА ШТУРМ

Более полувека продолжалась критическая деятельность Владимира Васильевича Стасова. «Он говорил об искусстве так, — вспоминал А. М. Горький, — как будто все оно было создано его предками по крови — прадедами, дедом, отцом, как будто искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать внуки...»

Письма В. В. Стасова публикуются в отрывках по подлинникам рукописных отделов Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Государственного Русского музея.



**И. Н. Крамскому**

*СПБ Публичная библиотека  
10 апреля 1884 г.*

А знаете, что ведь г л а в н а я почти цель настоящего письма моего была та, чтоб сказать Вам то, чего я не успел в последнее наше свидание в Петербурге. Это вот что: я нахожу, что Ваше письмо, напечатанное в «Н о в о м В р е м е н и» скоро после открытия передвижной выставки, есть лучшее и важнейшее из всех Ваших писаний до сих пор, а я не раз встречал



между ними и важные, и интересные, и отличные. Мне кажется, никто у нас не выражал так смело и так категорически, как это сделано в этом письме, что наше искусство само по себе и не нуждается ни в примерах, ни в образцах (как бы ни были высоки и чудесны эти образцы), что у нашего искусства свои собственные задачи и цели, а значит — и свои собственные средства для осуществления этих задач и целей; поэтому с наших художников нечего требовать приближения к «образцам», ни повторения их — того, что достигнуто было художниками совершенно иного склада и стремлений. Не знаю, может быть, иные из Ваших товарищей думали и понимали то же самое, но ни один не высказал этого так сильно, определенно и сжато, как Вы. За то Вам великая честь и слава!! Сожалел я только об одном, что обстоятельства устроили и повернули так, что это Ваше чудесное письмо адресовано было в такую помойную, вонючую и гнилую яму, как «Новое Время» и его достойный кормчий и скотина, а главное невежда, Суворин. Но что жалеть! Бывает иногда и так, что драгоценная вещь попадает в гнусные и недостойные руки.

**И. П. Ропету (Петрову)**

*26 февраля 1887 г.*

Но пойдите поскорее на выставку передвижников. Новым солнцем у нас больше! Суриков — просто гениальный человек вышел теперь. Его «Боярыня Морозова» (раскольница, которую возят по Москве на позор, а она вдохновенно проповедует) — первая из всех русских картин на сюжеты из русской истории. У меня вчера перед этой картиной слезы брызнули из глаз. Ступайте скорей, скорей!

## Ф. И. Стравинскому

имп. Публичная библиотека  
15 мая 1888 г.

Глубоко и искренне уважаемый Федор Игнатьевич, сейчас у меня был (на дому) г. Фролов по некоторым своим делам и между прочим передал мне, что Вы, кажется, не совсем довольны партией Скулы, назначенную Вам в опере «Князь Игорь» Бородина. Поэтому-то я спешу написать Вам несколько слов.

Вы полагаете, что эта роль — второстепенная в опере. Нет, Федор Игнатьевич, эта роль тут не второстепенная, а третьестепенная. Да, но это такая же третьестепенная роль, как Варлаама в «Борисе Годунове», как Фарлафа в «Руслане», т. е. верх торжества и Петрова (О. А.) и Стравинского!!! Кто же на нашем веку был выше их двух во всей опере «Руслан»? Да, да,— кто? Точь-в-точь как в Фарлафе и Варлааме, в роли Скулы бездна жизни, комизма, сценической игры, одушевления, подвижности — еще раз повторяю: ж и з н и, ж и з н и, ж и з н и!! А этого, кроме Вас, ни у кого нет у нас теперь на всей сцене оперной. Ради бога, не бойтесь «третьестепенности» роли.

Я помню, в 1844 году на Александринском театре давали какую-то нелепую драму «Нижегородцы». Главную роль играла Вера Самойлова и была, как всегда, прелестна, и мы все, тогдашняя молодежь, по-настоящему сходили от нее с ума. Но кто еще выше был, кто уже положительно был гениален и выходил за пределы всего воображаемого, это — М а р т ы н о в. Он играл тут роль не второстепенную, не третьестепенную, а — пятистепенную, какого-то пьяного, ничтожного мужичонки, у которого не знаю, было ли 100 слов по всей пьесе. Мартынову только захотелось сделать одолжение бенефицианту своим именем на афише. Что ж Вы думаете, за эти его 10 слов весь театр гремел неумолкаемо. Что тут считать степени роли?! Вот точно

так и Вы с О. А. Петровым: играли «ничтожные» роли Варлаама и Фарлафа и дали — истинные chefs d'oeuvre'ы<sup>1</sup>. То же предстоит Вам и теперь.

Я от Римского-Корсакова ничего не слыхал о назначении Вам роли Скулы, но услышав теперь, хвалю его выше небес. Верно, верно он выбрал Вам роль. Теперь желаю Вам одного: нынче где-нибудь в захолустье, летом, изучить русского м у ж и к а, хитрого, лукавого, эгоиста, проворного, оборотливого, притворщика — и вместе по-своему добродушного. Авось это изучение даст Вам средства дать нам в «Игоре» такой chef d'oeuvre личности, которого потом никогда никто не забудет. Дай Вам бог.

**М. М. Антокольскому**

СПБ 9/21 января 1883 г.

Я должен говорить о том, что прочитал во вчерашнем Вашем письме и еще в другом недавнем. Тут уж я с вами решительно расхожусь от А до Z, кажется, не сойдуся во всю жизнь. Вы говорите, что это плод Ваших размышлений за последние 15 лет,— но тоже плод моих размышлений за 25 лет, уместилось в моих 2-х статьях «Вестника Европы». Нам обоим вряд ли придется теперь изменять наши мнения, мы оба окрепли в них. И вот тут-то мне и прискорбно видеть, что согласия между нами быть уже никогда не может!!! У меня изменения никакого не произошло в моем образе мысли, как было  $\frac{1}{4}$  столетия тому назад, и только я развивал все более и более к о р е н н у ю , п е р в о н а ч а л ь н у ю свою программу и задачу. У вас же, мне кажется, произошло значительное изменение: Вы, по моему мнению, пошли по другому рельсу, а не по первоначальному Вашему,— и этому причиной чужие края! Перову, Репину,

---

<sup>1</sup> Шедевры (франц.).

Верещагину чужие края не были вредны, Вам же — были (это мое личное убеждение, естественно, ни для кого не обязательное). Если бы Вы пробыли в Италии и Париже всего несколько месяцев, а не несколько лет, было бы совсем другое. Конечно, дело идет не об утрате или умалении Вашего таланта. О, нет! Он у Вас сделался сильнее и ярче, он вырос и возмужал, как и следовало ожидать, и я считаю, что Вы во всяком случае капитальнейший и оригинальнейший скульптор современной Европы. Но первоначальная дорога, первоначальный «свой» рельс — утрачен, и Вы теперь только лучше всех творите на «чужом» общеевропейском рельсе. «Свой» — забыт и брошен!! Вы перестали быть представителем темной массы плебса, демократии, неизвестных личностей, взятых из «будничной жизни». Нынче Вы уже давно берете только все «аристократов» человечества (Христа, Сократа, Спинозу, Моисея и т. д.), Вам нынче нужны непременно «исторические», великие имена! Точно будто история и жизнь только в них и воплощается? Совсем нет!!! В «Еврее-портном», в «Инквизации», в «Споре о Талмуде» никак не меньше истории, а пожалуй, для меня лично — то и гораздо более! А такие задачи, как «Мефистофель», «Мать, борющаяся с орлом» и т. д. — по-моему, вовсе не современные задачи, а только «идеалистические», отвлеченные, трансцендентальные, ничем не уступающие Гениям, Фавнам, Богиням Мира, Целомудрия, и прочая дребедень. Не соглашайтесь со мною сколько угодно. Только ради бога не сердитесь на меня за мою откровенность и искренность. Я верую и исповедую, что Вам всю жизнь надо было прожить не в Италии и Париже, а в Петербурге среди русских художников и художества, и как Вы ни высоки и чудесны теперь, а были бы — еще выше!

Но вот что еще ужасно меня удивило. Вы хвалите мои статьи в «Вестнике Европы», говорите, что с ними согласны. Но по-моему, на поверку выходит, что Вы во все с ними не согласны и что они составляют самую крайнюю противоположность нынешнему Вашему образу мыслей. Я проповедую и

стараюсь доказать, что новое искусство Европы и России — есть, что оно идет на всех парах, а Вы находите, что его нет, и что только ему следует быть. Я на десятках страницах рассказываю новые задачи (совершенно убивающие задачи старинного искусства XVI, XVII и т. д. веков), рассказываю, сколько умею, как новое искусство великолепно и талантливо выполняет эти задачи, а Вы находите, что ни новых задач, ни современных чувств у нового искусства нет и что оно еще и не трогало современность!!! Находите, что все у него сухо, прозаично,— а я везде тут нахожу высшую поэзию, силу и грацию. Вообще, Вы веруете в старое искусство, находите, что оно «выполнило» свою задачу, а я верую только в новое искусство, а про старое нахожу, что оно нигде и никогда «не выполнило» свою задачу, невзирая на великость многих своих талантов.

*Пятница, 23 июня/4 августа 1893 г.*

Хваля хорошие, талантливые портреты, Вы в одном месте говорите, что «тут видишь словно дорогого человека, друга, становишься счастливым...». Ну нет, по-моему, это суший вздор! Вспомните хоть портрет Суворина, написанный Крамским: это есть суший chef d'oeuvre, лучшая вещь художника по глубочайшей и правдивейшей характеристике, по высокому галанту. Тут вся мерзость, хитрость, подлость и притворство Суворина как на ладони. Неужели этот портрет будет моим другом, счастьем? Никогда, никогда! А Ваш бюст графа Дмитрия Андреевича Толстого, а портрет Репина того же подлеца и мерзавца — неужели это тоже мой друг и счастье? Никогда, никогда! А портреты Веласкеца (гениальные chefs d'oeuvre'ы) — Филипп IV, его шуты, идиоты-карлы и т. д., портреты Рубенса и Вандика — болвана и скотины английского короля Карла I; Веласкеца — папа Иннокентий — и т. д. и т. д., — неужели это все наши друзья и счастье? О, боже! Как это можно сказать и напечатать??

СПБ 11 февраля 1894 г.

Вообразите, что... настает для Вас повсюду невзгода, порча, измена, неавантаж всяческий — неужели от всего этого Вам позволительно падать духом, терять кураж и бодрость и впадать в сентиментальную меланхолию? Никогда, никогда — это было бы недостойно Вас. Настоящий художник должен идти вечно на штурм, напролом и все брать с бою! Ничто не дается даром, ничто самое важное и дорогое — всегда надо самому достигать. Кажется, Вы и сами никогда ничего не думали; не воображаю, чтоб Вы теперь стали вдруг думать иначе. Будет успех или нет, а каждый должен делать, что может, а главное — идти вперед и поминутно брать все новые и новые задачи.

Понедельник, 26 июня 1895 г.,  
вечер

Вы говорите, что я не видел «Сестры милосердия». Правда, не видел, может быть даже никогда не увижу, и — казните меня сколько хотите — скажу прямо, что я на эту вещь нисколько не могу возлагать надежды. Просто хоть не видеть ее никогда!! И это не безумство, не нахальство, не дерзость и не самомнение и не заносчивость с моей стороны, а мнение, опирающееся (по моему разумению) на коренные факты. Для меня (слышите ли, для меня, только для меня — я не имею ни малейшей претензии говорить за других, а тем менее учить кого бы то ни было) — итак, для меня Ваша натура, творчество и художество распадаются на две половины: одна — могучая, твердая, сильная, мужественная, бодрая, мужская — великолепно и пронесет Ваше имя к бессмертию. Это: Иван Грозный, «Инквизация», Петр, Нестор, Ермак и некоторые другие. Другая половина — сентиментальная, мяконькая, слабая, немножко хнычущая, сахаристая, болезненная, элегическая, женская. Это — «Христианская мученица», Спиноза, голова Христа (отдельная) и другие. По-моему, этот отдел Вам

бессмертия не даст, хотя иные из этих вещей собственно по фактуре и технике стоят очень высоко (Спиноза). Повторяю: статуя Христа по мысли, по оригинальности, по новизне стоит в первом отделе, но по голове — во втором. Кажется, таковы были всегда мои мысли о Вас, и никогда они не изменятся. Вот поэтому-то я и хотел только выразить свое опасение, а что если творчество 1-го Вашего Отдела, главного, коренного, из-за которого стоит жить и работать, да вдруг иссякнет!! Вот где мои страхи, вот где мои сомнения! Пусть окажется, что я ошибаюсь, что творчество у Вас осталось, живет и движется то самое, которое было при Ваших великих созданиях: Иване IV, Иване III, отчасти Ярославе (верхом), «Инквизиции», Несторе и Ермаке,— я первый готов упасть на колени, каяться и просить извинения за свое неразумие, непонятливость и близорукость.

*СПБ Среда, 23 апреля 1897 г.*

Многие из новейшей художественной молодежи (так я слышу) объявляют себя «импрессионистами», что для них только важны и интересны краски и письмо, прочее все вздор и нелепость и ни о каком сюжете и содержании нечего и думать! Все это страшные басни и предрассудки, литература!!! Что написано против этих нелепостей и глупостей — они еще никогда, конечно, не читали, да и не желают знать, им до того никакого дела нет!

При первом случае буду опять писать об этом, и был бы очень восхищен, если бы и Вы тоже написали нечто на эту тему: «Искусство для искусства!», «Долой сюжеты и содержание!» Мне кажется, все благомыслящие люди должны бы вооружиться против такой «чумы».

СПБ имп. Публичная библиотека  
18 декабря 1898 г.

Вы придаете какое-то совершенно преувеличенное идеальное значение искусству и упускаете из виду его настоящее жизненное значение. Искусство вовсе не призвано служить все только наивысшим и д е а л ь н ы м задачам; оно существовало, существует и будет, конечно, всегда существовать для очень разнородных задач, калибров самых разных. Можно ли сказать определенительно, с математическою точностью отмерить, что для него именно назначена наша душа, наш ум, наш интеллект, наше понимание, наше всяческое творчество? Нет, нельзя, потому что рамки, задачи и деятельность каждой из этих сил в отдельности и всех их вместе — беспредельны! Они нужны и для малых и для больших дел, для самых простых, обыкновенных, даже ординарных отправлений нашей жизни, но также для самых громадных, мировых. Так точно и искусство. Оно никогда, от самого начала мира и сквозь все столетия истории, никогда не чуждалось н и к а к и х задач, ни самых крупных, ни самых маленьких, и можно предполагать, что, наверное, точно так же будет впредь и всегда. Посмотрите хотя эпохи м л а д е н ч е с т в а искусства, у «диких» и «варварских» народов (название, которое я считаю ложным), — и продолжайте обзор до эпох самых утонченных, и везде Вы найдете, что все художники всех народов (в том числе художники самые высокие и гениальные) никогда не чуждались того, что Вам кажется мелким, ординарным, слишком житейским! Никогда. Никогда. В своей статье я только говорил (по поводу парижской и берлинской выставок), что искусство в погоне за «высшими и великими (!) задачами» иногда забывало многие нужные для жизни сюжеты облекать формами искусства, но теперь везде стараются н а в е р с т а т ь потерянное время и забытые (временно) сюжеты, — и поэтому я радовался! Уже давно даже у искусства и



его науки (эстетика) оказались целая глава и целый отдел, которые называются «прикладным искусством», «художественная промышленность» и так далее, куда входят и опакала, и стол, и стул, и миниатюра, и колонна, и капитель, и всякий орнамент, и нож, и лампа, и сани, и дуга и так далее и так далее без конца, и никто не думает изгонять их из области искусства! Напротив, все эти создания, иногда с формами самыми высокоталантливыми, даже гениальными, составляют одну из гордостей искусства. Станьте на секунду менее «идеальным», и Вы тотчас с этим согласитесь.

**С. А. Венгерову**

*имп. Публичная библиотека  
1 октября 1897 г.*

Многоуважаемый Семен Афанасьевич, я был очень рад, увидав из Вашего письма, что Вы все-таки не так худо отзывались о русском искусстве и музыке, как это напечатали «Новости»; однако же, мне не может не быть прискорбно, что человек, как Вы, столько и так симпатично занятый интересами русской интеллигенции, так мало веруете в современное русское искусство и, в иных случаях, так мало еще осведомлены о том, как его считают лучшие люди в Европе! Вы, мне кажется, находите, что и наше искусство и наша музыка имеют еще мало значения для всех других, кроме русских. Но я бы мог представить очень много доказательств совершенно противоположного — чем более узнают наше искусство и музыку на Западе, тем более их ценят. Уже много раз высказано там было, например, что вся будущность музыки зависит теперь от русской школы, или тоже, например, что существует величайшее соответствие между русскими литераторами и поэтами и русскими художниками и музыкантами. Но, кажется, Вам, к сожалению, еще не приходилось это читать в западноевропейской художественной критике, как мне это часто встречается, Поэтому я

искренно сожалею, что это все Вам неизвестно и что Вы, вместе со многими другими у нас, цените русское искусство и музыку гораздо меньше, чем это делает Европа. Жаль, жаль, жаль!!! Когда же мы перестанем отставать от нее даже в собственных делах!

**Н. Ф. Финдейзену**

*Пятница, 18 февраля 1900 г.*

Как меня Ваше вчерашнее письмо удивило, Николай Федорович! Ваше применение Р. Вагнера к Бетховену (совершенно как большинство нынешних немцев-фетишистов).

Мне кажется, Вы совсем не знаете, что такое слово «декадент» и «декадентство». Когда же это было, чтоб кто-нибудь упрекал и уличал Бетховена в «декадентстве»!!! Даже и слова-то этого тогда еще не существовало. Бетховена упрекали совсем в другом: его упрекали за то, что он не хочет знать преданий, что он шагает поперек них и идет дальше. Его упрекали за его содержание, вносящее нечто совершенно новое, широкое и глубокое, за его формы, ломавшие все прежние рамки. Вагнера никто из понимающих и не фанатиков никогда не корил и не корит за расширение и углубление содержания, а напротив — за сужение и обеднение его. Бетховен брал мировые глубокие, вечные задачи, Вагнер — только средневековые уродливости, все только романтические, религиозные, фантастические, ограниченные да еще амурные — и больше ничего. Единственные «Meistersinger'ы» — исключение истинно человеческое, да и то наполовину лишь.

Вагнер желает почти всю оперу производить посредством речитатива — прекрасно, исполать ему! Но к речитативу у Вагнера нет ни малейшей способности!!! Можно ли тут хоть за миллион верст сравнить его с Даргомыжским, Му-

соргским и Бородиным? Те — хотели (и по всей справедливости!) и дел а л и. А этот хотел, да не м о г.

Потом по всем вообще формам: у Бетховена формы чудные по глубине, красоте, изяществу, величию, грации — у Вагнера формы только безвкусные, корявые и антиэстетичные, и только в т е х н и ч е с к о м (так сказать, в школьном и педагогическом) отношении представляющие что-то собственное и новизну для пользования будущих творцов. Впрочем, В а ш е дело любить и боготворить, что Вам нравится и что Вам угодно.

**Д. В. Стасову**

*СПБ Понедельник, 4 сентября 1906 г.*

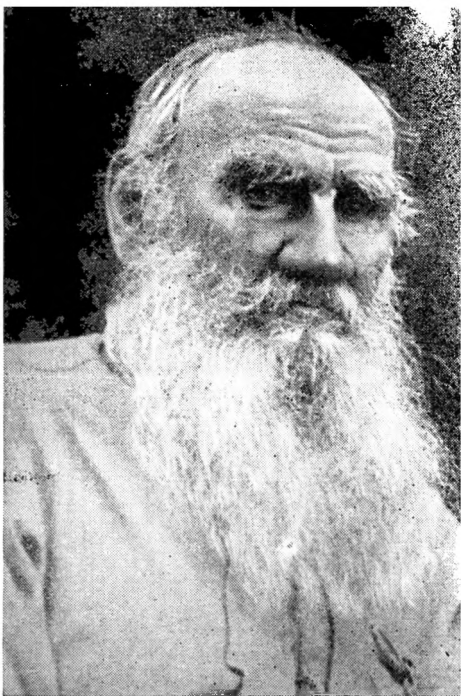
Вчера, после многого пения, Шаляпин объявил, что хочет нам прочесть кое-что. И прочитал: «Город желтого дьявола», и «Прекрасная Франция» из «D'oreau Rouge». Оба — истинные chefs d'oeuvre'ы! Настоящий Байрон нашего времени. Какая сила! Какая красота! Какая картинность языка! Можно только удивляться краскам Максима Горького. Для меня эти две вещи — наравне с его «Человеком» — лучшие его создания. Это именно то, что от него останется навеки, вместе с «Буревестником», с «Песнью Сокола» и немногими другими... Шаляпин читал умеренно хорошо, не очень-то знатно, но патетичные места и высокие душевные ноты — великолепно, с великим огнем и поразительною силой!

В. В. СТАСОВ

## ЗАГЛЯДЫВАЮЩИЙ В ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

Почти три десятилетия продолжалась дружба Льва Толстого и В. В. Стасова. Выдающийся художественный критик всегда отзывался о своем друге, как о самом блистательном таланте русской литературы. Высоко оценивая обличительную сторону толстовского дара, он считал писателя «настоящим артиллеристом, разрушителем и нарушителем свверных твердынь и казематов».

Многие письма В. В. Стасова и деятелям русской культуры посвящены великому писателю. Подлинники публикуемых в отрывках писем хранятся в рукописных отделах Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) и Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.



В. О. Михневичу

имп. Публичная библиотека

10 декабря 1891 г.

Многоуважаемый Владимир Осипович, я читал с удовольствием Ваши рассказы о Лье Толстом. Я сам у него бывал, как и Вы, с восторгом и удивлением и не мог надивиться на эту небывалую гениальную натуру. Именно поэтому мне предосадно, что Вы так неправы говоря, будто никто не потрафит его в портретах, даже Репин. Да разве Вы позабыли изумительный несравненно талантливый портрет Репина 1887 года; да разве

Вы не видали на нынешней выставке (Репина и Шишкина) портреты Репина: «Толстой в комнате», «Толстой в саду». Или Вы всего этого не оценили по-настоящему? Жаль. Жаль. Я все это говорю Вам потому, что нынче слишком много есть нелепого народа, нападающего на Льва Толстого за все, за все, а таких, кто за него,— мало. Но Вы, как и я,— за, и потому мне было бы жаль встречать, даже и тут, неверные ноты. Нет, Репин сохранил для всех будущих поколений истинный гениальный образ Льва русского, сохраненный во всей правде, в многообразных видах. И, прибавлю к этому, еще один молодой художник сделал нечто равное с Репиным, но уже в скульптуре. Это — Элиас Гинцбург, молодой еврей, которому по моей просьбе Лев Толстой позволил нынче в июле снять с себя статушку и бюст. Вышло нечто поразительно верное и схожее. Вы, верно, не видали? Ну, так пойдите и посмотрите. Он Вас пустит к себе, я его предварил на всякий случай. Можно в его мастерскую всякий день: Академия художеств, с Третьей линии, мастерская в первом этаже. Если хотите, пойдите этак от одного часа до трех-четырех. Увидите и (надеюсь) согласитесь, что Лев Толстой воспроизведен и в скульптуре (как в живописи) с совершенством, необычайным сходством и глубоким выражением. Мне хотелось бы Ваше покаяние. Обожателей Толстого не много нынче истинных.

**А. В. Верещагину**

*СПБ 25 января 1895 г.*

Я несколько не имею претензии быть правым в своих литературных мнениях, напротив, я всегда говорю: мои мнения — только для меня самого и больше ни для кого. И хороши они или дурны, но я с ними так и останусь, неизменно и непременно. Вы знаете, люблю я и уважаю ли я Льва Толстого! Он для меня гениальнейший писатель в мире, а особенно в настоящее время, и я его безмерно и безгранично обожаю, даже не-

взирая иногда на все его заблуждения и ошибки! Но пусть выскажет свое мнение в чем бы то ни было не то что один Лев Толстой, а целых сто — это будет для меня все равно, и я не сдвинусь со своего мнения и образа мыслей ни на единый волосок, соглашаясь, впрочем, заранее, что мое мнение, может быть, ровно никуда не годится!

**Н. Н. Страхову**

*Публичная библиотека  
16 февраля 1895 г.*

Вам, кажется, еще неизвестно, что я уже лет шесть как разошелся со Стасюлевичем, ничего у него не пишу, не имею с ним никаких дел и сохранил только шапочное знакомство. Ссора наша произошла именно из-за того, что он отказался напечатать у себя в «Вестнике Европы» драму «Омут» одного из учеников или последователей Толстого, которую Лев Николаевич просил меня напечатать там. При этом случае Стасюлевич писал мне, что не то что его ученики, но и сам-то Лев Толстой пишет каким-то мякинным языком, которым мы с Вами, Владимир Васильевич, ведь не пишем же!!! После таких дурачеств я написал Стасюлякию, что ужю сохраню навсегда это письмо и однажды оно будет напечатано. Вы можете себе вообразить, каковы с тех пор наши отношения, и, конечно, и сами найдете, что мне не совсем-то ловко спрашивать его насчет повести Толстого.

**Е. М. Бем**

*СПБ Среда, 27 августа 1897 г.,  
вечер*

Получил Ваше письмо, и что оказывается? То, что в своих похвалах мне за VIII статью о Ге вы встретились знаете с кем?

С нашим Львом Великим, который пишет мне точь-в-точь в одно время с Вами: «Вчера прочел окончание Ваших статей о Ге — я глубоко тронут и восхищен...» и так далее и так далее. А в конце опять говорит: «Прекрасная, прекрасная Ваша книга о Ге...», — и сверх того прибавляет, что я, по-видимому, в своей книге, которую теперь пишу, сильно буду одних мнений с ним. Каково! Каково! Вы можете вообразить, как от всех таких конфет и леденцов я чувствую себя на сорок седьмом небе!!! Да еще вдобавок Лев меня крепко снова зовет к себе, требует, чтоб я ехал к нему в Ясную еще в сентябре: видно, в самом деле хочет меня повидать да на придачу прочитать, что у него написано в новой книге «об искусстве». И я сам с великим нетерпением жду момента, когда приеду к нему! Хочу, кроме книги, заставить его прочесть мне «Власть тьмы», которую так обожаю — если нельзя всего, то хоть частицу. А что касается самой книги, его новой, то Элиас Гинцбург, только что воротившийся из Ясной, слышавший книгу почти всю, рассказал мне оттуда все главное очень подробно, и я многим так был поражен и восхищен, что тотчас написал о том большое письмо Льву (конечно, впрочем, я с иным вовсе не согласен там: не был, не есмь, да и впредь никогда не буду согласен). А книга, кажется, капитальная. И многое множество людей, особенно художников, будут от нее отплевываться и ругаться (эта самая участь, коли только не хуже, предстоит, вероятно, и моей книге, когда она напечатается, что, впрочем, будет, если я ее кончу, лишь тогда, когда меня самого уже не будет на свете). Вообразите еще что: Лев гребует, чтоб я ему сообщил свои мысли о народной живописи (он разделяет живопись на «арабскую» и «народную», как делит точно так же и поэзию и музыку — на «барскую» и «народную»). Я ему послал уже ответ, на первый раз в 8 страниц. Потом будем переписываться о том же еще и еще.

**Е. М. Бем**

*имп. Публичная библиотека  
Пятница, 9 января, 1898 г.*

Вы меня сильно порадовали своей горячей симпатией к новому творению Льва. Я тоже в неопisanном восторге от этой чудной вещи «Что такое искусство?», невзирая на то, что там с иным не согласен. У нас там даже происходил великий спор и состязания насчет Рихарда Вагнера (о котором Лев неумело говорит в этой статье) — Лев даже отчасти рассердился на Римского-Корсакова в споре и сказал его жене: «Я рад, что собственными глазами видел сегодня мрак!!!» Я же был, на свою долю, осторожен и в споре ничего не говорил прямо против Толстого.

**А. В. Верещагину**

*СПБ. Публичная библиотека  
10 января 1898 г.*

Если ничто не помешает, съезжу ко Льву опять на Пасхе. Так мне важно и нужно с ним быть и видеться, такие у нас знатные, капитальные происходили разговоры, невзирая на короткость времени! Ах, что за человек, что за натура, что за личность, что за глубина во всем!!!

**А. В. Верещагину**

*Парголово  
5 августа 1898 г.*

А что, ведь, я думаю, Вы так и не читали по сию пору Львиные статьи в «Руси», июльские №№ 4, 5 и 6, за которые еще дано предостережение. Ах, какая силища, ах, какая лапа!!!



Знаете что, Александр Васильевич. После этого хочется только схватить свою чернильницу, перья и бумагу, забросить их в полойную яму и больше до них никогда-никогда не дотрагиваться. Вот, если меня увидите, попросите — дам Вам прочитать.

**П. И. Вейнбергу**

*Вторник, 29 сентября 1898 г.*

Позвольте мне удивиться, как это Михайловский будет в воскресенье прославлять Льва Толстого, он, который не находил достаточно слов и насмешек, и острот, чтоб печатно глумиться над ним!! У меня всегда есть (нынче) в кармане его паршивая статья («Русская мысль», 1892 года), где он говорит, что «в этом писателе сидит барин (!!!), неисправимый барин, привыкший ничем не стесняться — человек, полный только собой (!!!), только самоуверенный и воображающий, что он открывает Средиземное море (!!!)».

Какой-то мизерный Михайловский и — Лев Толстой, громадный гигант!!! Конечно, пойду в воскресенье послушать карлика о великом.

**И. П. Ролету (Петрову)**

*Парголово (Старожиловка)  
Воскресенье, 4 июля 1899 г.*

Неужели Вы не видите и не читаете «Воскресение» Толстого? Что за гениальная чудная штука! Обьедаюсь и учусь на каждой черточке тут.

Н. П. Собко

Вторник, 26 октября 1899 г. 12 часов

На днях я решил у себя в голове: к 1 января напечатать статью «На прощанье с XIX веком», статью наполовину описательную, но еще на большую половину — лирическую. Тут я хочу последним взглядом, словно на параде, взглянуть на все европейское художественное войско и армию с артиллерией, саперами, понтонами, кавалерией, казаками и гусарами за весь наш век. Они все пройдут перед зрителем церемониальным маршем, а потом густыми колоннами, вскачь и бегом, — и архитектура, и музыка, и живопись, и скульптура. Тут будут и Лист, и Глинка, и Бетховен, и Мендель, и Виктор Гюго, и Гейне, и Гоголь, и Пушкин, и русская архитектура и живопись, и женщины, и последним аккордом и нотой, заглядывающей в XX век, — Лев Толстой.

О. И. Оптовцевой

СПБ. имп. Публичная библиотека  
13 января 1900 г.

А читали ли Вы... «Воскресение», и если да, то как Вы довольны? Что касается до меня, то я без ума от этой вещи и считаю ее одним из самых гениальных его созданий (невзирая на некоторые пункты, с которыми я мало согласен, например, сам Нехлюдов, по-моему, слабейшая фигура всего романа). Но я должен предварить Вас, что впечатление этой изумительной книги, наверное, гораздо сильнее на меня, чем на многих других, потому что я читал ее не по петербургскому изданию «Нивы», где пропасть выпусков и сокращений, а по лондонскому, где все напечатано целиком. Еще раз повторяю: для меня это одна из гениальнейших книг, какие только существуют на свете, а сам Лев Толстой для меня... может равняться только с Шекспиром, а в русской литературе имеет достойными товарищами лишь Герцена и Грибоедова. Таков мой символ веры.

**Е. М. Бем**

*Воскресенье, 13 августа 1900 г.*

Как я Вам благодарен за письмо. Я получил его у Льва, в самый день моего отъезда от него, и в его присутствии. Он был очень-очень доволен Вашею памятью о нем и тотчас же попросил, чтобы я написал Вам «большой его поклон», и сказал, что «очень Вас любит и уважает». Со мной он был (впрочем, по-обыкновенному) необыкновенно любезен и даже заставил меня остаться у них целым днем дольше, чем я намеревался. Кроме времени своего писанья (от 9 до 1 часу дня), он все время был со мною и лишь немного (сравнительно) с другими приезжими, которыми Ясная Поляна вечно полна. О чем, о чем только мы не говорили в эти незабываемые дни, чего только и кого только не разбирали с ним вместе. А какие вещи он нынче пишет — ума помраченье! Еще в Лондоне я прочитал печатную (июньскую) вещь: «Патриотизм и правительство», и это было бесподобно, а теперь он нам дал еще прочесть новую, ненапечатанную вещь: «Не убий», — по поводу смерти итальянского короля Гумберта. Это просто чудо что такое!!! Вероятно, Вы и сами скажете то же самое, когда вещь будет напечатана. Он многое другое еще теперь пишет, в том числе драму. Итак, нынешнее мое путешествие ко Льву Великому было бесподобно, и, кажется, еще никогда я не уезжал от него с такою горестью и сжатым сердцем, как нынче.

**Е. М. Бем**

*имп. Публичная библиотека*

*10 октября 1900 г.*

Про нашего Льва Великого все последнее время носились разные слухи — то он очень болен, то он умер, то его арестовали и увезли, и так далее. Все это оказалось вздором и ложью.

Два-три дня назад я получил от него письмо, где он пишет про разные наши дела, и с ним ничего худого не случилось, но что касается до меня, то он только удивляется, как я, вот такой-то и такой-то человек, могу бояться смерти и ненавидеть ее, тогда как «только она, т. е. мысль о ней, выносит в такую область мысли, где полная свобода и радость...» Ну уж тут я за 1000 верст от него отбегаю во всю прыть: ни радостей, ни свобод я никаких тут не знаю и не вижу, и мерзость и нелепость так и есть — мерзость и нелепость.

**И. Я. Гинцбургу**

*Пятница, 13 октября 1900 г.*

Сегодня для меня день восхищений и удовольствий. С 7 часов утра я читал в постели «Воскресение» нашего несравненно-го Льва Великого и снова, словно в первый самый раз, был потрясен и унесен. Что за сила, что за гений!!! Вы знаете, для меня всего выше III часть, где нарисованы новые и новейшие люди, те, из которых (из лучших) будет состоять XX столетие! В сравнении с этими страницами маленькие щенки и пудели все самые превосходные страницы о Базарове. Какие характеры, какие разнообразные умы и темпераменты — такое громадное разнообразие, начиная от дураков и идиотов по всем ступеням и до высших проявлений человека — такое разнообразие, такие тысячи оттенков были только в «Илиаде» (с «Одиссеей») да еще у Шекспира. Я читал иное просто со слезами, чуть не рыдая, — и это не потому, что читал не что-то чувствительное, трогательное, сентиментальное, трагическое, а потому что так все у него правдиво, глубоко, верно, потрясательно!

## А. В. Верещагину

Парголово,  
вечер, 28 августа 1902 г.

У Льва Великого я провел, вместе с Элиасиком Гинцбургом, удивительные три с половиною дня. Лев — опять прежний Лев, и всю его болезнь точно кто-то стер резинкой с неба! Никаких следов не осталось. По-прежнему он ходит раза три в день гулять, да и нас, по обычаю, таскал — по горам и долам, по лугам и полям, а все остальное время то пишет, запершись у себя в комнате, то сидя с нами в компании. И какие разговоры, какие мысли! Чудеса!

К нам в Тулу выслали тройку, с коляской; когда мы приехали в Ясную, все семейство выскочило к нам из-за стола, и графиня сверху прибежала ко мне, встречать, прямо в сад, у коляски, за нею все семейство; сам встретил меня вверху лестницы и повел к столу, где обедал. А что дальше, что дальше — прелесть. А все эти дни, потом, было истинное баловство мне. Лев приходил ко мне, к постели, когда я еще не успевал встать; приходил и днем, перед обедом, после маленького своего дневного отдыха, а вечера уж мы были неразлучны. Какие беседы, какие разговоры!! Чего только не перебрали всего на свете!! Это был рай небесный!!

## И. Я. Гинцбургу

Старожиловка  
Вторник, 27 июля 1904 г.

Я теперь нередко после чая, когда еще времени довольно до постели, сижу на стеклянной нашей галерее и читаю — знаете что? «Войну и мир», — я думаю, в 200-й раз. Ах, какой chef-d'oeuvre! Ах, какое великолепие! Ну и тут тотчас же так и разгораешься пламенем, как бы увидеть, хоть еще разик на своем веку, этого необычайного, несравненного и небывалого человека, нашего чудного Льва Великого!

**Е. М. Бем**

*Старожиловка*

*Суббота, 7 августа 1904 г.*

Дороже всего было мне прочитать у него в письме, какое сочувствие он мне высказывает по поводу того большого сочинения, которое я теперь пишу и к которому готовлюсь лет более 30!! Кажется, я и Вам не раз про него говаривал: называется «Разгром» или, как я его прежде всегда звал, «Carnage gépé-gal» («Великое побоище»). И вдруг сам Лев Великий говорит мне нынче, что это что-то нужное, важное и интересное! Можете представить себе, какое он прислал мне этим восхищение и радость в своем письме. Точно будто какой-то огромный бриллиант в футлярчике. Я раскрыл, не зная еще, что в футлярчике том будет, и вдруг оттуда мне блеснуло огнями, красками и всяческим сверканием! Вот я ему и пишу!

**А. В. Половцеву**

*имп. Публичная библиотека*

*30 сентября 1904 г.*

Лев Николаевич очень не любит и очень мало уважает Гете и его творения. Поэтому в его «Афоризмах великих людей» Вы и не встречаете «изречений» из Гете. Он согласен находить что-то замечательное разве только в «Hermann und Dorothea», и это я знаю не только из слов А. Ф. Кони и из того, что я лично сам много раз слышал от Льва Николаевича, но также из сообщений немецкого ревиw'ера Гуго Ганца, которого статья есть напечатанная по-русски и по-немецки. Поэтому я полагаю, что Льву Николаевичу было бы очень неприятно отвечать на Ваши вопросы о Гете.

## А. В. Половцеву

*имп. Публичная библиотека*

*3 октября 1904 г.*

Напрасно Вы подумали, что неблагоприятное и несочувственное мнение Льва Толстого о Гете, может быть, происходит от недостаточного знания им немецкого языка. Это вполне неверно. Лев Толстой знает языки: немецкий и английский (не говоря уже о французском) так, как, наверное, никто во всей Российской империи лучше его не знает. Притом же, как он в одном месте замечает, мы все на свете гораздо больше знаем по переводам, чем по оригиналам, и в этом никакой убыли нет. Так, например, вся Европа знает Библию, Шекспира и прочее вовсе не по-европейски и не по-английски, а все в переводах. Сверх того, такой великий человек, как Толстой, способен понимать все великое и истинное, невзирая на тот или другой специальный язык.

Нет, если Толстой почти вопреки всей Европы старого и нового времени не любит и не уважает (в большинстве случаев) Гете, то у него, наверное, для того свои особенные и важные причины!

И. Е. РЕПИН

## СОВЕСТЬ ХУДОЖНИКА

Маг и волшебник русской живописи И. Е. Репин создал десятки картин, выполнил сотни портретов, написал тысячи рисунков. Мыслями о дорогом искусстве наполнено множество его писем. В одном из них великий мастер сказал: «Красота — дело вкусов; для меня она вся в правде...»

Письма И. Е. Репина публикуются в отрывках. Подлинники писем хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.



**В. В. Андрееву (1898 г.)**

Все хотел побывать у Вас, чтобы передать Вам впечатление концерта Вашего, но вижу, что это затягивается надолго — надо писать.

Вы видели: успех был полный. Но выражают ли Вам слушатели откровенно их суждения, которые они очень дружно произносят по Вашему адресу? Все почти упрекают Вас за увлечение западноевропейской музыкой, все предпочитают исполнение чисто русских мелодий... Вы начали уже и очень удачно: «Камаринская» Глинки. Вам известно, конечно, и многое другое в



этом роде — в русских операх, русских авторов. А я бы еще напомнил Вам одного — что составляет главную цель моего письма — Мусоргского. Известны ли Вам его хоры из оперы «Борис Годунов», «Хованщина»? Я убежден, что в произведениях Мусоргского Вы найдете неисчерпаемый источник широкой русской музыки, будете передавать ее восхитительно и произведете фурор везде, где бы Вы ни появились с этим репертуаром. Из «Бориса» хоры «Ой не сокол летит по поднебесью», «Хор калик перехожих», «Величание боярина», «Разыгралась сила молодецкая» и многое другое. Из «Хованщины» «Хор стрельцов», песня Марфы, раскольников.

Да Вы лучше меня все это выберете для себя, если познакомитесь с этой действительно русской музыкой.

Прошу извинить, если этот совет Вам не по сердцу.

Искренне и глубоко уважающий Вас

И. РЕПНЦ.

Есть и песни в этих двух операх для двух и для одного голоса.

**В. К. Бялыницкому - Бируля**

*Пенаты*

*15 августа 1909 г.*

Очень обрадован Вашей телеграммой. Надежда видеть Вас у нас здесь нас очень веселит: даже все кругом похорошело.

Эскиз готов. Кажется, я уже сообщил Вам, что я вариировал тему Грозного своего.

Сцена происходит в «приемной» (парадный тронный зал). Она расширена значительно. Стиль — смесь персидского с ренессансом. В высокие деревянные хоромы проникают солнечные лучи с верхних окон. «Передняя» обставлена дорогими сюрпризами (награбленными большей частью у слабых соседей), чтобы послам «в нос бросилось». Развращенный до безумия

деспот находится уже в следующем периоде своей казни. Он ревет белугой. Отвратительный, жалкий, несчастный палач наказан наконец. Он сознал, что убил свою династию, убил свое царство.

Вот как я размечтался. Мне даже неловко стало, будто я подымаю свой товар.

Ради бога, этого не думайте. Ничем не обязывает это Вас и заказчика. Если ему не понравится, я выставлю этот эскиз на «Передвижной» продавать.

Есть у меня еще Гоголь, сжигающий свои писания, — тоже эскиз.

Итак, надеюсь, до скорого свидания.

Куоккала  
5 октября 1909 г.

Очень, очень обрадован я Вашим милым письмом — как Вы меня балуете!..

Я много думал о той художественной идее Вашего искания нового в своем творчестве. Вы как-то обронили смысл Ваших задач, и мне представились они так мужественны. Ну, думаю, этот художник — счастливец. Он найдет себя особо. И это поглотит его. Чем труднее путь к его идеалам, тем выше станет он в искусстве. И что перед этим воображением все житейские волны!

А, кстати, я думаю, что самая высокая награда человеку на земле — воображение. И рай, и царство мертвых, и жизнь на всех планетах — даже в протуберанцах солнца может побывать человек, даже самого бога может он увидеть и даже слышать его голос. Ничего не стоит человеку прожить миллион лет.

Гоголя своего я буду считать свободным, пока не удастся достичь в нем Гоголя. И буду очень счастлив принять Ваше предложение, когда моя совесть художника спокойно вздохнет во мне.

## М. Н. Климентовой - Муромцевой

Куоккала

1 января 1913 г.

Дорогая, вещая, могучая Мария Николаевна. Такая досада берет: был в Москве и не виделся с Вами. От двух Ваших московских святынь я в великом восхищении. Одна — это музей имени Александра III. Вот честь и слава Цветаеву. Как собрано, что собрано! И все это так размещено, так приподнесено, что не верится действительности...

Другая святыня уже старая — но и старый друг лучше новых двух: Румянцевский музей. Разумеется, самая суть — гениальнейшее создание А. А. Иванова «Явление Христа народу». Я никогда не думал, что эта вещь так хороша, так высока по форме!!! Вот как, в продолжение моего почти 40-летнего знакомства с картиной все растет и растет она перед моими глазами, как только посчастливится мне увидеть ее.

Но что особенно, уже заново восхищает невиданным еще в искусстве нашем — это витрина с эскизами его к библии!!! Этот русский гений опередил художников нашего мира на 50 лет вперед. Без эффектничанья, полный новейших знаний эпохи и форм, этот же гений открыл всему свету пути никем не предчувствованные. И сколько теперь пьют из этого живого источника!

Пожалуйста, остановите меня, я никогда не кончу. Жаль, жаль: так бы хотелось с Вами посмотреть на все это. У Вас хорошие традиции, глубокий ум. Так он разверзает сокровища духовного мира человека. И откуда это у Вас?

**В. П. Канкриной**

*Куоккала*

*15 марта 1915 г.*

Считаю для себя огромной честью помещение моего автопортрета в предполагаемом Вами издании полного каталога. Вот несколько слов, которые могли бы быть помещены под моим портретом:

«Суть искусства заключается в его очаровании. Все недостатки, все можно простить художнику, если его создание очаровывает.

Декадентство и особенно футуризм смешны. Эти жалкие, безобразные уроды бессмысленно становятся рядом. Нет, они становятся на место великих произведений искусства. Бедные! Прокаженные рабы бездарных наглецов».

**В. М. Федорову**

для библиотеки-музея

Техникума точной механики и оптики

*Пенаты*

*3 сентября 1923 г.*

К Вам, молодые товарищи, обращается на 80-м году старик, посвятивший всю свою долгую жизнь искусству.

Подражая великому нашему гению Дмитрию Ивановичу Менделееву, я называю свое слово «заветной мыслью». Искусство я ценил выше всего: в нем было мое счастье, отрада и глубокое страдание. Искус: как можно лучше — вот принцип искусства. Во всякой деятельности искусство вносит свою любовь к достижению совершенства. Тут не должно быть ни равенства, ни большинства. Всякий мастер проникает в прогресс своего

дела настолько, сколько вложено в его натуру специальной способности. Труд по любви — вот наслаждение мастера-художника, тут его независимость и значение.

С сочувствием и желанием быть вам полезным

И. РЕПИН.

**П. Е. Безруких**

20 июля 1926 г.

Все Ваши милые послания и фотографии я своевременно получаю; на днях, получив Вашу последнюю фотографию, я даже усумнился: таким Вы брюнетом представлены — это делают черные волосы и черные глаза. А я до сих пор с удовольствием вспоминаю своих милых художников — гостей из России. Какой даровитый, интересный народ! Уж не говоря о Бродском. Радимов поэт, филолог, Григорьев — святая душа-человек, а Кацман какой подвижной, полный святого беспокойства художник! Да и чувствуется, что это уже другого покроя люди, и мы, т. е. я, например, уже не узнаем, что создадут эти активные деятели впоследствии.

Всколыхнется Россия лет через сорок и — что может показать миру новое потомство сильных с новыми запросами деятелей?

Несомненна их — говорю о художниках — доброжелательность и честность...

Ясно, что поворачивается вселенная стороной благочестия и мрак и безобразие отходят в бездну забвения... пора, пора... и мир начнет оживать и богатеть. Довольно уже господства преступников.

Всего лучшего желаю Вам.

Ах, большое спасибо за книги — о Ленине я читаю все и добираюсь до понимания этого человека.

К. А. Коровину

Пенаты  
3 августа 1929 г.

Дорогой Константин Алексеевич, все время, вот уже целая неделя, я так восхищен Вашей картиной — спасибо Леви, который доставил мне это удовольствие!

Какой-то южный город ползет на большую гору. Он, кажется, называл это улицей Марсея; не помню хорошо. Но это чудо! Bravo, маэстро! Bravo! Чудо. Какие краски! Прелесть, какие краски — серые с морозом, солнцем. Чудо! Чудо! Я ставлю бог знает что, если у кого найдутся такие краски!!!

Простите, дорогой.

Ваш коленапреклоненный аплодирует Коровину!

ИЛЬЯ РЕПИН.

И. П. Павлову

26 сентября 1929 г.

Великому физиологу нашей страны Ивану Петровичу Павлову посылаем наше поздравление с 80-летием его неусыпной деятельности.

Желаем еще многие годы поздравлять маститого ученого. С желанием всего лучшего в жизни нашего мира.

Профессор живописи

ИЛЬЯ РЕПИН.



М. В. НЕСТЕРОВ

## УМ, ПОЭЗИЯ, МЕЧТА

Творчество М. В. Нестерова — бесценное достояние народа. Выдающийся русский художник говорил: «Природа моя была отзывчива на явления жизни, на людские поступки, но лишь искусство было и есть моим истинным призванием». Письма М. В. Нестерова об искусстве публикуются в отрывках по подлинникам рукописных отделов Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) и Государственного Русского музея.

А. А. Турыгину

Киев

11 апреля 1893 г.

Отвечаю тебе тотчас, не ручаясь, однако, что кончу письмо через месяц. Начну с того, что постараюсь возможно просто выяснить, что я подразумеваю под ответом моим «кому-то» по поводу «правды» или природы в искусстве. Не помню, отвечали ли я так кому или нет, но если да, то ответ такой, конечно, был дан не Поленову, не Сурикову, не даже Репину, а одному из тех ограниченных господ, «правда» которых есть уже шаблон, выработанный 30-летней бесталанной практикой. Правда эта

не идет у них дальше валяного сапога, написанного «с натуры». «Правды» такой я не люблю, и она мне не дорога. Мила же и любезна мне она тогда лишь, когда олицетворяет собой внутренний, поэтический смысл характера — человека, природы или животных, а так как при этом я называю художником того лишь, кто имеет «индивидуальность», то следовательно, и правду художественную я признаю «индивидуальной», и дело гения или таланта навязать, заставить людей верить в его личную правду, а не условную.

*Равенна*

*14 августа 1893 г.*

Без увлечения, без страсти и веры в дело в нем нет жизни, а я и по природе своей человек не умысла, а увлечения и страсти.

В суждениях твоих о памятниках прошлого — Афин — одно лишь то правда, что все это в настоящем их виде — археология, обломки, годные для науки, я же художник, а потому и взгляд мой иной: я восхищаюсь самим предметом, а не по поводу его. Противное же мне напоминает одного старика, который, будучи в вилле Адриэна, брал в руки первый попавшийся камень и замирал над ним, и он же был совершенно глух и бесчувствен к смыслу московских колоколов, их своеобразной музыке, их повествовательной мелодии — этому человеку нет места в деятельности поэтической жизни. Он не поймет ни Глинку, ни Баха, не поймет шума лесного, пения соловья и ропота ручейка. Он, бедняга, только археолог и притом без чутья, сухой теоретик.

*Киев*

*14 ноября 1893 г.*

В редких промежутках между работой и отдыхом — сном — бываю в опере, которая здесь хотя и существует, но в очень плачевном виде, но сама музыка уже дает много, это, быть может, лучшее средство против убийства нервов. Последний раз был



на печальном торжестве чествования памяти покойного Чайковского. Давали «Евгения Онегина», из Чайковского опер более любимую мною, — там много нам дорогого, нашего интимного, что лежит у сердца и что трогает сладко душу, а подчас вызовет и слезы. Спасибо Чайковскому и вечная ему память.

*Вифания*  
*2 июля 1896 г.*

Я помню твой вопрос о Врубеле. Врубель — большой талант, талант чисто «творческий», имеющий свойство возвышенного, идеального представления красоты, несколько внешнего характера, с большими странностями... но, повторяю, это талант.

**В. Л. Кигяну**

*Киев*  
*1 ноября 1897 г.*

По личным причинам я не вправе причислять себя к какому-нибудь из так называемых «направлений». Я не натуралист, не символист, не импрессионист, не классик. Словом, я не сектант в узком смысле, но я смело беру в руки то орудие, которое необходимо мне в известный момент; я пользуюсь натурой, не чужд «символа», готов взять «классическую» форму и размеры и всем этим рад любоваться, только лишь под одним условием, чтобы в авторе был талант, присутствие живой силы, поэтического чувства. К «стилю» я не подойду без необходимости и если им в таком случае воспользуюсь, то только тогда, когда пропущу через ряд наблюдений живой природы.

Наши «отцы» Иванов, Брюллов, Бруни, Васнецов — все они в известных случаях отдали свою дань «стилю». Иванов, этот колосс в области проникновения творчества, посмотрите, как он был равнодушен, как внимательно он изучал «стариков», мозаика Рима и Ровенны ему также были близки, как Тициан,

а потому натура, которую он умел понять и не отдавался ей в руки с головой, прекрасные традиции прошлого были для него как бы фильтром. Можете ли Вы себе представить купца Калашникова вне той «стильной» песенной формы, в которой написана эта несравненная поэма? Дальше — «Песня о вещем Олеге» и много, много других чудных художественных произведений нашей поэзии, где художник поставлен был в необходимость считаться с прошлым. «Стиль» не может ослабить значения произведения (это может казаться только внове). Он придаст произведению устойчивость, монументальность. Если же Вы заметите в картине отсутствие жизни, то тут виной не «стиль», а художник, которому отказано в таланте говорить языком высоким, но живым, тот художник не пророк, не трибун, не полководец, и жалеть такого, если он потонет, не надо, не стоит. Вы говорите о современной технике, что же, я не отвергаю, стремлюсь к ней, быть может, с тем же, если не большим старанием, как и другие, но раньше, чем пользоваться ею, я проверю, насколько она необходима в той виртуозности, которая свойственна новейшим живописцам, и часто останавливаюсь на языке скромном, по возможности интимном и искреннем, как более подходящем к тем чувствам и настроениям, какие имею желание передать.

Однако я обещаю Вам — и надеюсь сохранить свято — любить природу во всех ее выражениях и проявлениях ее, учиться у нее, обращаться с ней со всей деликатностью, какую она требует, но также буду помнить и традиции прошлого, создавшие историю искусства.

А. А. Турыгину

12 декабря 1898 г.

В минувший понедельник 7 декабря Москва похоронила своего почетного гражданина, одного из благороднейших своих сынов, дорогого нам, художникам, Павла Михайловича Третьякова.

Павел Михайлович был наш, он знал наши слабости и все то, что есть у нас хорошего. Он верил нам, сознательно, разумно нас поддерживал. Покойному не нужны некрологи, ни глупые и пошлые, вроде нововременского, ни восторженные и многоречивые. Деяния его так велики, они так ярко свидетельствуют о себе сами.

*Париж*  
*30 июля 1900 г.*

Теперь два слова в память дорогого мне Левитана. Он умер 22 июля, а 25 его очень торжественно (прочти московские газеты: «Русские ведомости», «Новости дня» и другие) хоронили. Это начали уже из нашего полка, как скоро идет время, вот уже и Левитана нет! Нет одного из очень близких мне людей, человека глубоко мне симпатичного. Пусть ему земля легка будет. Имя же его в истории русского пейзажа начертано яркими буквами.

*Ясная Поляна*  
*22 августа 1906 г.*

Вот уже третий день как я в Ясной Поляне.

Первый день меня «осматривали» все, и я тоже напрягал все усилия, чтобы не выходить из своей программы. На другой день с утра отношения сделались менее официальные. Старый сам заговаривал и, получая ответы не дурака, шел дальше. К обеду дело дошло до искусства и «взглядов» на оное. И тут многое изменилось. Впрочем с Львом Николаевичем вести беседу не трудно, ибо он не насилует мысли. Вечером наш разговор принял характер открытый, и мне с приятным удивлением было заявлено: «Так вот Вы какой!» (Разговор был о Бастьен-Лепаже и его «Деревенской любви»). Вечером же вчера я почувствовал сильную простуду, температура поднялась без малого до 40 градусов, и я щеголял уже во фланелевом набрюшнике «великого писателя земли русской» и его дикой кофте. Затем меня уложили в постель, и, благодаря усилиям их доктора, драгоценная

для России жизнь теперь вне опасности, и сегодня поздно вечером я, вероятно, еду в Москву, сделав несколько набросков с Льва Николаевича.

Да! Я страшно рад, что решился сюда заехать, живется здесь просто и легко, а сам Толстой — целая поэма! В нем масса дивного мистического сантимента, и старость его прелестна. Он хитро устранил себя от суеты сует, оставаясь всегда в своих фантастических грезах... Ясная Поляна — старая барская усадьба, сильно запущенная. Все сосредоточено здесь около писательства Льва Николаевича. И необыкновенная энергия графини (самого «мирского» человека) направлена на то, чтобы Старичина не выходил из своего художественно-философского очарования.

*13/14 мая 1909 г.*

Памятник Гоголю «всесторонне» обругать нельзя: ибо он талантлив. Сделан, правда, не специалистом по монументной части, а потому хорош с одной-двух сторон, как живое изображение, красив по некоторым декоративным линиям, по материалу, с которого сработан, но никуда не годен по идее — Гоголь на нем не изображен здоровым, полным творческих сил автором «Мертвых душ», «Тараса Бульбы» и других, а изображен он умирающим, в смертельной тоске отрешающимся от всего им содеянного. И тут нет для Андреева пощады. Он, конечно, виновен, тем ли, что он «сын своего времени», или тем, что недостаточно умен, не знаю... Что же касается того, подражал ли он Родену или нет, то это меня не занимает — может, подражал, а может, и нет. Техника его самая самоновейшая.

К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ

## БИОГРАФИЮ НАПИШУТ ПОТОМКИ

В начале нынешнего века литератор и ученый А. И. Яцимирский собрал материалы для книги «Галерея русских самородков». Книга так и не увидела света, а среди собранных А. И. Яцимирским документов, которые хранятся в рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), оказалось затерянным на долгие годы публикуемое письмо великого теоретика космонавтики К. Э. Циолковского.

24 июля 1901 г.

Милостивый государь Александр Иванович!

Я бы гораздо раньше ответил на ваше письмо, если бы оно не пролежало в Училище две-три недели. Только 20 июля я его получил.

Я бы с удовольствием исполнил Ваше желание, если бы:

1) Я был твердо уверен, что я действительно самородок.

2) Если бы мне не было совестно писать о самом себе и показывать свою физиономию публично, как нечто заслуживающее внимания.

3) И, наконец, если бы я не был занят по горло моими опытами по сопротивлению воздуха, производимыми на средства Академии наук и по поручению ее.

Правда, здоровье мое плохо (или, вернее, некрепко) и я не молод (43 года), но с божиею помощью я еще надеюсь потрудиться над тем, что я считаю наиболее важным.

Недурно, конечно, оставить автобиографию — простую, наивную, без тени лжи и скрытности: она поучительна для потомства, если даже написана человеком самым обыкновенным. Но издание такой биографии возможно только после смерти автора.

Если мне не удастся написать автобиографию и завещать ее потомству для напечатания после смерти, то ведь беда не велика, большинство даже знаменитых людей осталось без автобиографий, что, пожалуй, делает им только честь, потому что указывает, как они мало думали о себе и как много о других. Их живая деятельность на пользу ближних и есть их биография. Смешно же (и постыдно) положение человека, выставившего себя напоказ и не оставившего добрых плодов. Я боюсь остаться таким, исполнив Вашу просьбу.

Но я не прочь напечатать это письмо в Вашей почтенной «Галерее» вместо моей автобиографии, во всяком случае прежнеевременной, и что-нибудь из моих популярных работ. Если Вы согласны, будьте добры уведомить, и я тогда подыщу подходящий материал.

С совершенным почтением

К. ЦИОЛКОВСКИЙ.



Л. Н. АНДРЕЕВ

## ПРИЗНАНИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Крупные таланты «большой литературы» многим обязаны Алексею Максимовичу Горькому. Встреча с Горьким определила и писательскую судьбу Леонида Андреева, письмо которого критику В. Ф. Боцяновскому публикуется по подлиннику Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.

17 марта 1903 г.

Многоуважаемый Владимир Феофилович!

Я только что получил Ваше письмо и очень сожалею, что короткий срок (до 22-го) не дает мне возможность вполне удовлетворить Ваше желание — получить мою автобиографию и фельетоны Джемса Линча\*. Последние у меня не собраны; часть их только вышла в отдельном издании под заглавием «Под впечатлением Художественного театра», но и этой книжки под рукой у меня нет. Завтра постараюсь достать и послать, но не знаю, получите ли Вы их вовремя.

\* Литературный псевдоним Л. Н. Андреева.

Не могу я — за массой дела — дать и полную автобиографию. Да вообще я не знаю, могу ли ее дать. Внешних событий, которые, как версты на пути, отмечают ход жизни, у меня мало, а для изображения душевной жизни потребуется целая книжка. Когда-нибудь я и напишу «Детство и отрочество», а пока коротко и общо отмечу главнейшее.

Детство мое, лет до двенадцати, до пробуждения мысли, исключительно счастливое. Отец много зарабатывал, и жили мы на Пушкарной (на окраине Орла) среди бедных домишек, как помещики. Я пользовался полной свободой и жил на улице, среди ребят: дрался, играл во все игры, купался и утопал, воровал яблоки в садах и подвергался приводу домой за уши. Ходил босяком лет до четырнадцати и был нравом дик. С шести лет начал читать — прямо романы. Увлекался одновременно Бовой и Рокамболом, Андерсеном и «Тайнами мадридского двора». Читал ужасно много и читать любил вечерами, сидя на крыше. Внизу сады, вдали таинственный город, а перед носом таинственная книга. Как-то странно сливались во мне две жизни: одна ясная, солнечная, простая, истинно детская; другая, на почве книги, — сумеречная, таинственная, почти мистическая. И обе были радостны. К религии, по примеру отца, я был совершенно равнодушен.

Отрочество и молодость — очень печальные. С пятнадцати лет я начал искать истинной цели жизни, истинной дружбы, истинной любви. Я искал, а жизнь в ответ щелкала меня по носу. Долго, очень долго путался я в добре и зле. Был христианином недолго; был буддистом, ницшеанцем (еще до Ницше), язычником. А жизнь щелкала. Умер отец — бедность, потом грязная, мучительная нищета; среда малоинтеллигентная, тупая и окостеневшая; не повезло в университете и на товарищей — не умел я найти среди них близкого себе человека. Время было скверное — начало девяностых годов. Начал я сильно запивать. Временами впадал в отчаяние; раз попробовал застрелиться — не вышло. Потом долгий период отупения и равнодушия. Друзья и знакомые, а равно и я сам, поставили надо мной крест.



Были попытки писать, но неудачные. Ни в ком не нашел я своим писаниям ни сочувствия, ни поддержки. Да и писал я плохо, сказать по правде. Все старался изобразить Фауста или Гамлета — на меньшем не мирился. Очнулся я в 1897 году, когда кончил университет и стал работать в газете «Курьер» судебным хроникером. Очень заинтересовался своим делом, и шло оно у меня, как говорят, недурно. Усвоил и технику письма, а главное, научился говорить кратко. Сложную драму запутанных отношений приходилось излагать в сотне строк — поневоле научишься краткости. В 1898 году, в апреле, напечатал первый рассказ «Бергамот и Гараська» (я посылаю его Вам), а потом уже начал писать рассказы вплотную. Постепенно занялся и фельетонами. Личная цель жизни была найдена; прошлое со всеми его ужасами одиночества и душевного мрака провалилось к черту.

Огромное влияние на мою судьбу оказал Горький. Познакомился я с ним после первого рассказа (он написал мне), и он был первый человек, отнесшийся ко мне с настоящим, дружеским и мужественным сочувствием. Он научил меня строгому отношению к работе и помог отыскать самого себя. Его благородная, почти нечеловеческая личность дала мне больше, чем все книги, какие я прочел, все люди, которых я знал. Я в жизнь поверил, узнавши Горького.

Едва ли Вас удовлетворит написанное. Во всяком случае, если Вы им захотите воспользоваться, то, пожалуйста, так, чтобы исчезла голая откровенность и автобиографичность. И даже о большем попрошу я Вас: пусть это послужит Вам подспорьем к пониманию моих рассказов, но пусть не оглашается, ибо тут больше исповеди, чем автобиографии.

Уважающий Вас

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ.

Могу еще указать Вам на рассказ мой «Иностранец» в декабрьской книжке «Богатства». Он мне не нравится, по цензурным условиям вышел одноким.

# БЕЗ ВОСКРЕСЕНИЙ И КАНИКУЛ

Н. А. Рубакин — выдающийся русский просветитель. Его капитальный труд «Среди книг» высоко оценил В. И. Ленин. Для второго издания этого труда Ильич написал статью «О большевизме».

Подлинники публикуемых писем Н. К. Крупской и Н. А. Рубакина хранятся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Центральном государственном архиве Октябрьской революции и Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР.



Н. А. Рубакину

2 февраля 1909 г.

Уважаемый Николай Александрович!

Вышло так, что у нас сейчас нет ни одного экземпляра, кроме личного «За 12 лет»\*. Я уже написала в Россию, чтобы выслали поскорее. Как только получу, перешлю Вам немедленно.

С товарищеским уважением

Н. УЛЬЯНОВА.

---

\* В. И. Ленин. За 12 лет. Два направления в русском марксизме и русской социал-демократии. Собрание статей. СПб, 1908. *Прим. ред.*

18 апреля 1911 г.

Многоуважаемый Николай Александрович!

По старой памяти обращаюсь к Вам с просьбой. В Лозанне живет моя близкая приятельница (M-me Stiglius), которая очень нуждается в заработке. Она знает языки, переводила и вообще занималась литературной работой. Может, вы сможете помочь ей найти необходимый заработок. Буду весьма благодарна.

Пользуюсь случаем, чтобы послать Вам мой сердечный привет по поводу Вашего юбилея. Ваша питерская деятельность жива в моей памяти. Помню мои частые визиты к Вам и те ценные указания, которые в свое время получала от Вас.

Крепко жму руку. Уважающая Вас

Н. КРУПСКАЯ (ЛЕНИНА).

M-me Oulianoff  
4, rue Marie Rose  
Paris, XIV.

15 января 1917 г.

Многоуважаемый Николай Александрович!

У меня к Вам большая просьба. Сейчас у меня начата одна работа по педагогике, для которой мне необходим разный русский материал (в частности, педагогические журналы за последние годы). Буду очень благодарна, если Вы разрешите пользоваться Вашей библиотекой. Хотелось бы приехать для этой цели в Кларан на 2—3 недели, но пока это трудно устроить. У Вас работает теперь наш близкий товарищ, Усиевич. Он не откажется пересылать книги. Насчет аккуратного возвращения книг и бережного с ними обращения — можете быть вполне спокойны (с этой стороны Вы меня знаете по прежним временам).

Нередко вспоминаю с добрым чувством старые времена, когда частенько забегала в Вашу библиотеку и Вы давали всегда массу сведений, столь необходимых при занятиях с рабочими.

Муж просит передать Вам его благодарность за разрешение воспользоваться книгами из Вашей библиотеки, необходимыми ему для реферата. Вернет их аккуратно.

С товарищеским приветом

Н. УЛЬЯНОВА (КРУПСКАЯ).

Мой адрес:

Frau Ulianov  
Spielgasse, 12  
Zürich

**А. Рамбо**

3 декабря 1896 г.

Из вашей заметки в «Journal des Debats» о моей книге \* я вижу, что вы, как иностранец, обратили слишком мало внимания на то явление, которое нас, русских, в настоящее время интересует особенно сильно. Правительство интересуется им, чтобы его стеснить, а общество, чтобы его развить. Я говорю о нарождении в среде крестьянства и фабричных рабочих таких людей, которые критически относятся к русскому государственному строю и распространяют это свое отношение в народной массе. В настоящее время у нас, в России, идет глухая, скрытая, но упорная борьба русского общества с русским правительством. За всякими феериями официального характера эта борьба далеко не видна. Тем не менее, она существует и выражается в массе фактов, которые видны даже в нашей придавленной, подцензурной печати. Я имею честь принадлежать

---

\* Н. А. Рубакин. Этюды о русской читающей публике. СПб, 1895.

к тому литературному кружку, который, по старым честным и святым традициям, всегда принимал и принимает деятельное участие в этой борьбе, запечатленной страданиями Новикова, Белинского, Чернышевского и многих других. Я поставил себе вопрос о развитии интеллигенции из народа и путем наблюдения и изучения пытаюсь разрешить его. Мое глубокое убеждение таково: то, что было десять лет тому назад достоянием маленького кружка достаточного класса, теперь перешло и распространяется в народе быстро и неудержимо. Вот на эту сторону я и позволю себе обратить Ваше внимание.

**И. И. Лебедеву**

*Лозанна, 5 апреля 1928 г.*

Искренне желаю Вам многие лета дальнейшей плодотворной работы на благо трудящегося класса. А что касается до того, сколько Вам лет, я, как психолог, вот что скажу: старик только тот, кто сам считает себя стариком. Думать о своем стариковстве — это значит заниматься крайне зловредным и разрушительным самовнушением, а оно, словно тихой сапой, подрывает и ум, и силы, и свежесть эмоций и чувств, и подрывает изнутри, из подсознания, незаметно, но упорно. Уж лучше Вы, дорогой, бросьте заниматься таким делом, окружите-ка себя лучшей молодежью да пропитывайтесь-ка ее молодым, жизнерадостным настроением. Ведь если Вам до сих пор хорошо пишется, это значит, что в Вас до сих пор имеется отличная почва для такого настроения. А ведь оно здорово заразительно и само по себе. Это я по самому себе знаю.

Мне уже 65 лет, но я никогда не считал и не считаю себя стариком, а работаю без воскресений и каникул вот уже 50 лет и со времен моей юности находился и нахожусь в теснейших сношениях с молодежью, которую и люблю и знаю и которой по мере своих сил и как умею помогаю в ее светлых стремлениях к свету, воздуху и теплу и в трудной работе выяснения и усвое-

ния великих принципов трудового строя и социальной и личной жизни. И сорок лет переписки и общения с такой молодежью ни разу не дали мне возможности киснуть, унывать, опускать руки и считать себя стариком. Нет, стремления молодости — это и мои стремления, настроение борьбы — это и мое настроение, вера в полную возможность осуществления социального строя на принципах действительно новых, справедливых, трудовых — это и моя вера до сих пор и до конца дней.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ДОКУМЕНТЫ РЕВОЛЮЦИИ

Ленин смеется. <i>Воспоминания П. Н. Лепешинского</i> . . .	9
Преданный науке. <i>Письма А. И. Ульяновой-Елизаровой и воспоминания об А. И. Ульянове А. П. Семенова-Тян-Шанского</i> . . . . .	13
Младшая семья Ульяновых. <i>Автобиография М. И. Ульяновой, ее воспоминания о В. И. Ленине и письмо родным</i> . . . . .	17
Первый переводчик «Капитала». <i>Письмо Г. А. Лопатина Русским женщинам. Письмо А. Бебеля</i> . . . . .	22
Труд победит! <i>Обращение М. В. Фрунзе</i> . . . . .	27
Самородок красивый, яркий, самобытный. <i>Биографический очерк Д. А. Фурманова о В. И. Чапаеве</i> . . . . .	32

### О ДНЯХ МИНУВШИХ

Все, что припомнилось. <i>Воспоминания Н. А. Дуровой</i> . . .	43
Пушкину тридцать пять лет. <i>Воспоминания Н. М. Смирнова</i> . . . . .	50
Золотое сердце Кибальчича. <i>Воспоминания Д. П. Сильчевского</i> . . . . .	55
Встречи и впечатления. <i>Воспоминания М. Г. Савиной</i> . . .	69
Забытым быть не может. <i>Дневник Г. И. Линника</i> . . . . .	76
Наш милый Чехов. <i>Воспоминания Е. М. Шавровой</i> . . . . .	90
Слово должно быть властным. <i>Воспоминания М. В. Бабенчикова</i> . . . . .	97
Любимый цирк. <i>Воспоминания В. Е. Лазаренко</i> . . . . .	104

Как мы начинали. <i>Воспоминания А. И. Маширова-Само- бытника</i> . . . . .	112
Учитель и друг. <i>Воспоминания П. И. Процерова</i>	117

## **СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Течение времени, течение рек. <i>Очерк М. К. Кюхельбекера</i>	125
По ту сторону шифра. <i>Неизвестные страницы Н. Г. Чер- нышевского</i> . . . . .	131
Себе и людям. <i>Афоризмы В. О. Ключевского</i> . . . . .	135
Быть современником великих дел. <i>Конспект доклада А. В. Луначарского</i> . . . . .	141
Неповторимое чувство удивления. <i>Рассказ Н. Ф. Пого- дина о работе над образом В. И. Ленина</i> . . . . .	148
Святое дело свободы. <i>Письма М. И. Муравьева-Апостола</i>	153
Вечно идти на штурм. <i>Письма В. В. Стасова</i> . . . . .	159
Заглядывающий в век двадцатый. <i>Письма В. В. Стасова</i>	171
Совесть художника. <i>Письма И. Е. Репина</i> . . . . .	183
Ум, поэзия, мечта. <i>Письма М. В. Нестерова</i> . . . . .	190
Биографию напишут потомки. <i>Письмо К. Э. Циолков- ского</i> . . . . .	196
Признание и признательность. <i>Письмо Л. Н. Андреева</i>	198
Без воскресений и жаникул. <i>Письма Н. К. Крупской Н. А. Рубакину и письма Н. А. Рубакина</i> . . . . .	201



**БИБЛИОТЕКА «ИЗВЕСТИЯ»**

**Забытым быть не может**

М., «Известия», 1963, 208 стр.

Художник **Ю. Корнышев**

Художественный редактор

**В. Селиванов**

Технические редакторы

**А. Березина, А. Гинзбург**

Корректоры **Н. Козлова, И. Дворецкая**



Б 00384. Подписано к печ. 4/VI 1963 г.  
Формат 70×108<sup>1/2</sup>. Бум. л. 3,25. Печ.  
л. 6,5. Усл. печ. л. 8,90. Уч.-изд. л. 9,10.  
Тираж 100.000. Зак. 766.

**Цена 27 коп.**



Типография «Известий Советов де-  
путатов трудящихся СССР» имени  
И. И. Скворцова-Степанова.

Издательство «Известия Советов де-  
путатов трудящихся СССР». Москва,  
пл. Пушкина, 5.

27 коп.

